

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Аркадий Аверченко
Надежда Тэффи
Саша Черный

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ



Школьная библиотека (Детская литература)

Аркадий Аверченко

Юмористические рассказы

Издательство «Детская литература»

2010

Аверченко А. Т.

Юмористические рассказы / А. Т. Аверченко — Издательство «Детская литература», 2010 — (Школьная библиотека (Детская литература))

В книгу вошли лучшие юмористические рассказы крупнейших писателей-эмигрантов начала XX века. Их роднит вера в жизнь и любовь к России. Для старшего школьного возраста.

© Аверченко А. Т., 2010

© Издательство «Детская
литература», 2010

Содержание

«Юмор – это дар богов...»	5
Аркадий Аверченко	21
Слепцы	24
Роковой выигрыш	28
Грабитель	34
Страшный мальчик	40
День делового человека	45
Рождественский день у Киндяковых	50
Под столом	54
Три желудя	58
Душистая гвоздика	62
Кулич	65
Продувной мальчишка	69
Конец ознакомительного фрагмента.	74

Аркадий Тимофеевич Аверченко, Надежда Александровна Тэффи, Саша Чёрный Юмористические рассказы

«Юмор – это дар богов...»



Писателей, рассказы которых собраны в этой книге, называют сатириконтцами. Все они сотрудничали в популярном еженедельнике «Сатирикон», который выходил в Петербурге с 1908 по 1918 год (с 1913 года он стал называться «Новым Сатириконом»). Это был не просто сатирический журнал, а издание, которое сыграло в русском обществе начала XX века немаловажную роль. Его цитировали с трибуны депутаты Государственной думы, министры и сенаторы в Государственном совете, а царь Николай II хранил в своей личной библиотеке книги многих сатириконских авторов.

Толстый и добродушный сатир, нарисованный талантливым художником Ре-Ми (Н. В. Ремизовым), украшал обложки сотен книг, издававшихся «Сатириконом». В столице ежегодно проходили выставки художников, сотрудничавших в журнале, славились и костюмированные балы «Сатирикона». Один из авторов журнала впоследствии заметил, что сатириконт – это титул, который давался только очень талантливым и веселым людям.

Среди них выделялся сатириконский «батяка» – редактор и главный автор журнала – Аркадий Тимофеевич Аверченко. Он родился 15 марта 1881 года в Севастополе и всерьез уверял, что факт его появления на свет был отмечен звоном колоколов и всеобщим ликованием. День рождения писателя совпал с празднествами по случаю коронации Александра III, но Аверченко считал, что Россия приветствовала будущего «короля смеха» – так его называли современники. Впрочем, в шутке Аверченко была немалая доля истины. Он действительно затмил популярных в те годы «короля остроумия» И. Василевского и «короля фельетона» В. Дорошевича, и веселый перезвон колоколов зазвучал в громких раскатах его смеха, неудержимого, радостного, праздничного.

Полный, широкоплечий человек в пенсне, с открытым лицом и энергичными движениями, добродушный и неисчерпаемо остроумный, он приехал в Петербург из Харькова и очень быстро прославился. В 1910 году вышли сразу три книги его юмористических рассказов, которые полюбили читатели за их неподдельную веселость и яркую фантазию. В предисловии («Автобиография») к сборнику «Веселые устрицы» Аверченко так изображает свою первую встречу с отцом: «Когда акушерка преподнесла меня отцу, он с видом знатока осмотрел то, что я из себя представлял, и воскликнул: „Держу пари на золотой, что это мальчишка!“

„Старая лисица! – подумал я, внутренне усмехнувшись. – Ты играешь наверняка“.

С этого разговора и началось наше знакомство, а потом и дружба».

В своих произведениях Аверченко часто рассказывает о себе, о родителях и пяти сестрах, друзьях детства, о юности, прошедшей на Украине; о службе в Брянской транспортной конторе и на станции Алмазная, жизни в Петербурге и в эмиграции. Однако факты биографии писателя причудливо смешаны в них с вымыслом. Даже его «Автобиография» явно стилизована под рассказы Марка Твена и О. Генри. Такие выражения, как «держу пари на золотой» или «играешь наверняка», уместнее в устах героев книг «Сердце Запада» или «Благородный жулик», чем в речи отца Аверченко, севастопольского купца. Даже Брянский рудник на станции Алмазная в его рассказах напоминает прииск где-то в Америке.

Дело в том, что Аверченко был первым писателем, который попробовал культивировать в русской литературе американский юмор с его нарочитой простотой, жизнерадостностью и буффонадностью. Его идеал – любовь к обыденной жизни во всех ее проявлениях, простой здравый смысл, а положительный герой – смех, с помощью которого он пытается вылечить людей, задавленных беспросветной действительностью. Одна из его книг называется «Зайчики на стене» (1910), потому что веселые сюжеты, которые рождаются у писателя, как солнечные зайчики, вызывают у людей беспричинную радость.

О глупцах говорят: покажи ему палец – и он засмеется. Смех Аверченко не рассчитан на глупца, он не так прост, как кажется на первый взгляд. Автор не просто смеется над чем попало. Разоблачая обывателя, погрязшего в рутине быта, он хочет показать, что жизнь может быть не такой скучной, если расцветить ее веселой шуткой. Книга Аверченко «Круги по воде» (1911) –

это попытка помочь читателю, утопающему в пессимизме и безверии, разочаровавшемуся в жизни или просто чем-то расстроенному. Именно ему Аверченко протягивает «спасательный круг» веселого, беззаботного смеха.

Еще одна книга писателя называется «Рассказы для выздоравливающих» (1912), потому что, по мысли автора, Россия, которая была больна после революции 1905 года, должна непременно выздороветь с помощью «смехотерапии». Любимый псевдоним писателя – Аве, то есть латинское приветствие, означающее «Будь здоров!»

Герои Аверченко – обыкновенные люди, российские обыватели, которые живут в стране, пережившей две революции и Первую мировую войну. Их интересы сосредоточены на спальне, детской, столовой, ресторане, дружеской пирушке и немного на политике. Посмеиваясь над ними, Аверченко именует их веселыми устрицами, спрятавшимися от жизненных бурь и потрясений в свою раковину – маленький домашний мирок. Они напоминают тех устриц из книги О. Генри «Короли и капуста», которые зарылись в песок или тихо сидели в воде, но все равно были съедены Моржом. А страна, в которой они живут, похожа на нелепую республику Анчурию или фантастическую Страну Чудес Льюиса Кэрролла, по которой гуляет Алиса. Ведь даже самые добрые намерения часто оборачиваются в России непредсказуемой бедой.

В рассказе «Слепцы» Аверченко выступает под маской писателя Аве. Поменявшись местами с королем, он на какое-то время становится правителем страны и издает закон, который кажется ему необходимым, – «об охране слепцов», переходящих улицу. Согласно этому закону полицейский обязан взять слепца за руку и провести через дорогу, чтобы его не сшибли машины. Вскоре Аве просыпается от крика слепца, которого зверски избивает полицейский. Оказывается, он делает это в соответствии с новым законом, который, пройдя путь от правителя до городского, стал звучать так: «Всякого замеченного на улице слепца хватать за шиворот и тащить в участок, награждая по дороге пинками и колотушками». Поистине вечная российская беда: хотели как лучше, а получилось как всегда. При полицейских порядках, господствующих в стране, любая реформа, по мысли писателя, превратится в свинство.

Повествование от первого лица – излюбленный прием Аверченко, придающий убедительность рассказанному. Его легко узнать в рассказах «Грабитель», «Страшный мальчик», «Три желудя», «Продувной мальчишка». Это он гуляет с друзьями по берегу Хрустальной бухты в Севастополе, прячется под столом в доме № 2 по Ремесленной улице, где жил в детстве; он подслушивает разговоры взрослых за ширмой, беседует с женихом своей сестры, который морочит ему голову, выдавая себя за грабителя. Но одновременно он создает миф о стране детства, которая так непохожа на жизнь взрослых. И ему очень грустно при мысли, что три маленьких мальчика, крепко дружившие в школе, потом превратятся в далеких друг от друга, совершенно чужих людей. Вслед за Н. Гоголем, который был его любимым писателем, Аверченко советует детям не терять добрых чувств и намерений по дороге во взрослую жизнь, забирать с собой из детства все лучшее, что встретилось им на пути.

Книги Аверченко «Шалуны и ротозей» (1914) и «О маленьких для больших» (1916) принадлежат к лучшим образцам детской литературы. В них «краснощекий юмор» соединяется с неподдельным лиризмом и тонким проникновением в мир маленького человека, которому так неуютно и скучно жить на белом свете. Герои Аверченко совсем не похожи на благовоспитанных дворянских детей, знакомых читателю по произведениям Л. Толстого и других классиков XIX века. Это продувной мальчишка, одержимый страстью меняться, «человек за ширмой», подглядывающий за взрослыми, фантазер Костя, который врет с утра до вечера. Излюбленный образ писателя – ребенок-шалун и выдумщик, похожий на него самого в детстве. Он способен обмануть и соврать, мечтает разбогатеть и стать миллионером. Даже маленькая Ниночка – деловой человек, старающийся во что бы то ни стало найти себе взрослую работу. Кажется, что этот герой живет не в начале, а в конце XX века.

Свежесть восприятия, трогательную чистоту и бесхитростность детей Аверченко противопоставляет корыстному лживому миру взрослых, где обесценились все ценности – любовь, дружба, семья, порядочность, – где все можно купить и продать. «Моя была бы воля, я бы только детей и признавал за людей», – доверительно сообщает писатель. Он уверяет, что только дети выламываются из опостылевшего быта, из размеренной и нудной обывательской жизни, а взрослый человек – «почти сплошь мерзавец». Впрочем, иногда даже мерзавец способен проявить человеческие чувства, когда он сталкивается с детьми.

Вор Мишка Саматоха, забравшийся в сад, а потом и в дом, неожиданно для себя начинает играть с девочкой Верой. Как взрослая хозяйка, она угощает Мишку, не замечая, что тот прячет в карман серебряные вилку и ложку. Наевшись и напившись, забрав часы, брошку, кольцо и чье-то пальто, Мишка уходит, не испытывая никаких угрызений совести. Но через несколько дней он решает подарить Вере новую куклу взамен старой, растрепанной Марфушки, которой они играли, и даже извиняется, что забыл вернуть ложку.

В рассказах о детях голос Аверченко окрашивается доброй, иногда даже возвышенно-романтической интонацией, за которой почти не слышна свойственная ему ирония. В детском мире нет главного врага писателя – «ее королевского величества Матери-Пошлости», о которой он писал с ненавистью, замечая ее проявления всюду: в быту, в политике, в общественной жизни и в литературе.

С годами смех Аверченко менялся: «краснощекий юмор» превращался в «смех ради смеха», а после Октября 1917 года политическая сатира полностью вытеснила его со страниц «Нового Сатирикона». Писатель высмеивает большевиков, оплакивает Россию, которую губят «ради чистоты партийной программы», сожалеет о «раздетых людях» и «раздеваемой государственности». Гибель старого быта, разрушение вековых национальных устоев он воспринимает трагически и сравнивает все происходящее с «дьявольской интернациональной кухней, которая чадит на весь мир». Дружбу, любовь, остроумную шутку, хорошую книгу, вкусную еду и прочие земные радости – все, что было так дорого Аверченко, – смел октябрьский ураган. И писатель, который восторженно приветствовал Февральскую революцию, стал ожесточенным врагом советской власти. В 1918 году в одном из последних номеров «Нового Сатирикона» был напечатан памфлет Аверченко, адресованный В. И. Ленину, в котором он демонстративно отстаивал свое право судить о людях и событиях с беспартийной, общечеловеческой точки зрения.

После того как журнал был закрыт по распоряжению советского правительства, Аверченко уехал на юг, а оттуда – вместе с отступающими врангелевцами – в Константинополь. В 1921 году в Париже вышла написанная им еще на родине книга «Дюжина ножей в спину революции». Революция в его изображении – это «чертово колесо», которое расшвыривает со своей полированной поверхности всех, кто на него взберется, желая управлять Россией, будь то А. Керенский, В. Ленин или Л. Троцкий. Писатель хотел бы прокрутить историю, как кинематографическую ленту, в обратную сторону, чтобы вновь замелькали перед его глазами кадры сытой и спокойной жизни.

Все окружающее: голод, холод, разруха, отсутствие света – кажется ему историческим парадоксом, отбросившим Россию к первобытному строю, к темноте и бескультурию. Оглядываясь вокруг, он замечает лишь осколки разбитого вдребезги старого быта. А новое, которое строят большевики на разрушенном «до основания», вызывает у Аверченко едкую насмешку.

Среди осколков разбитого вдребезги писатель находит ставшую ненужной книгу и возвышенную любовь, дружеское застолье в «Вене» и милый его сердцу ресторан «Донон». Разбиты и поруганы православные святыни, разрушены все государственные устои. А русский человек, как посетитель аттракциона «Веселая кухня», все еще крушит деревянными шарами суд и финансы, народное просвещение и Церковь, торговлю и искусство. Аверченко пророчески

предсказывает, что потом, когда пройдет революционное похмелье, народ будет горько плакать и жалеть о случившемся. В его рассказах громко звучит одна тема: «За что они Россию так?»

В книге «Дюжина ножей в спину революции» двенадцать рассказов, и каждый из них – как острый нож в спину советской власти. Но особенно больно читать рассказ «Трава, прижатая сапогом», о судьбах детей искалеченных кровавыми событиями революционных лет, рано повзрослевших, забывших об игрушках. Они безошибочно различают по звуку выстрелов калибр орудий, прекрасно разбираются в системах разного рода оружия. Писатель задается вопросом: какой же вырастет восьмилетняя девочка, с которой он беседует о фугасах и бризантных снарядах, о малокровии у мамы и реакции Ватикана на эксцессы большевиков? Отогреются ли души детей под теплым солнышком, распрямится ли молодая травка, прижатая тяжелым сапогом, подбитым гвоздями?

Прочитав книгу Аверченко, В. Ленин написал на нее рецензию под названием «Талантливая книжка», особенно выделив рассказ «о психологии детей, переживших и переживающих Гражданскую войну». Он писал: «Так, именно так должна казаться революция представителям командующих классов». В. Ленин упрекнул Аверченко в озлоблении, доходящем почти до умопомрачения, и назвал его представителем «старой, помещичьей и фабрикантской, богатой, объевшейся и объедавшейся России». В книге и вправду много говорится о том, как ели и пили в старом Петербурге, сколько стоил обед в дорогом ресторане «Кюба», более дешевой «Вене» или в трактире у Федорова. Но для Аверченко это лишь повод, чтобы сопоставить старое и новое: Россию, которая копила, наживала и позволяла себе хорошо пожить, и советскую власть, проповедующую лозунг: «Грабь награбленное!» А главное, за всем этим стоит неподдельная боль за родину, превратившуюся в убогую нищенку, робко ожидающую представителей мировых держав на конференции по вопросам политики. Россия интересует их лишь как страна, из которой за бесценку можно выкачивать сырье и получать дешевый хлеб.

В эмиграции Аверченко написал еще несколько книг: «Записки простодушного» (1921, второе издание – 1923), «Кипящий котел» (1922), «Дети» (1922), «Смешное в страшном» (1923), «Двенадцать портретов знаменитых людей в России» (1923), «Шутка мецената» (1924), «Отдых на крапиве» (1924), «Рассказы циника» (1925) и др. Их названия говорят сами за себя. Писатель изображает «кипящий котел» Крыма в 1920 году, «константинопольский зверинец», где прожил почти два года, высмеивает советских вождей и их жен, вспоминает свою жизнь в Петербурге и пытается отдохнуть от едкой и злой сатиры в юмористических рассказах о детях, но отдых получается «на крапиве».

В автобиографическом рассказе «Трагедия русского писателя» Аверченко выступает под маской Простодушного, который живет в Константинополе и не уезжает в Париж, так как все еще верит в возможность вернуться на родину. Он безмерно тоскует по России и боится потерять связь с родным языком. Писатель иронизирует, что эмигранты вскоре будут писать так: «Он заходишь на конюшню, сесть на медведь и поехать в ресторан, где скажишь: „Гарсон, рюмку Рабинович и одна застегайчик и тарелочка с ухами“». Конечно, писатель еще помнил, как спросить рябиновую водку и уху с расстегаем, которой славился ресторан „Медведь“ на Конюшенной, но все это безвозвратно кануло в прошлое вместе со старым бытом.

С весны 1922 года Аверченко поселился в Праге. Он ездил на гастроли в Прибалтику, Германию, Болгарию, Сербию, Румынию, выступал в спектаклях созданного им эстрадного театра „Гнездо перелетных птиц“, играл роль „Аркадия Аверченко“ на многочисленных литературных вечерах. Его произведения печатались на немецком, чешском, сербском, хорватском, болгарском и других языках, первые тома собрания сочинений начали выходить в Харбине и Праге. Но все это не приносило удовлетворения. Он наконец осознал, что никогда не увидит России. В Европе он так и не почувствовал себя как дома. Меняя гостиничные номера, собирая и разбирая чемоданы, Аверченко все больше тосковал по родине.

Один из его друзей вспоминал: „Он болел смертельной тоской по России. В последний раз, когда мы виделись – полтора года тому назад, – он жаловался мне: „Тяжело как-то стало писать... Не пишется. Как будто не на настоящем стою... И вот разъезжаю... Актерствую... Чему нужда не научит?“ Ему не писалось и не смеялось. Все глуше и глуше становился его смех“.

В эмиграции Аверченко не хватало свободного дыхания, той легкости и жизнерадостности, которые были ему присущи до революции. Писатель по природе радостный и светлый, он мог быть таким только на родине. Ненависть и злоба, поселившиеся в его душе, погубили веселый гений смеха. Последняя книга Аверченко написана от имени Циника, ни во что не верящего, во всем сомневающегося человека. Сама история кажется ему циничной пройдохой, сыгравшей с ним дурную шутку. Писатель совершил эволюцию от „смехотерапии“ и доброго юмора к злой и желчной политической сатире, остроумный Ave, наивный и добрый Простодушный превратились в разочарованного Циника.

От его имени написаны „Исторические нравоучительные рассказы“, которые при всем их остроумии окрашены немалой долей скептицизма. Описания известных исторических событий (возникновение Карфагена, походы Александра Македонского, подвиг Муция Сцеволы, война Помпея и Юлия Цезаря и др.) Аверченко сопровождает сатирическим комментарием и поучениями, обращенными к детям. В общем ироническом контексте даже такие фразы, как „Будьте благопристойны!“, „Будьте практичны!“, „Никогда не поручайте другим тех дел, которые возложены на вас“, звучат как едкая насмешка над всем человеческим родом. „Исторические нравоучительные рассказы“ – это не пародия на известную всем „Всеобщую историю“ или на учебники для школ и гимназий, а горестное признание автора, что история – это всемирная комедия, состоящая из ошибок и недоразумений.

Не случайно в сборнике „Рассказы Циника“ (1925) Аверченко перепечатал свой ранний рассказ „Роковой выигрыш“, где говорится: „Странные шутки шутит над нами жизнь, а мы все – ее слепые, покорные рабы“. Убеждая читателя в фатальности, предопределенности всего происходящего в мире, Аверченко вновь и вновь прокручивает „неуклюжую, громоздкую машину воспоминаний“. При этом даже анекдот становится для него лишь одной из многочисленных шуточек злодейки судьбы, с которой ничего не поделаешь.

Судьба и вправду оказалась немилостивой к Аверченко. Он умер в 1925 году на железной койке в Пражской городской больнице, немного не дожив до сорока четырех лет. Его похоронили в русской части Ольшанского кладбища, неподалеку от православной церкви, и посадили на могиле березку. Тело было заключено в металлический футляр, чтобы, согласно завещанию, со временем его можно было перевезти на родину.

Вспоминая о писателе много лет спустя, Н. Тэффи писала: „Многие считали Аверченко русским Твеном, некоторые в свое время предсказывали ему путь Чехова. Но он не Твен и не Чехов. Он русский чистокровный юморист, без надрывов и смеха сквозь слезы. Место его в русской литературе свое собственное, я бы сказала – единственного русского юмориста“.

Сама Тэффи прожила долгую жизнь. Под этим псевдонимом скрывалась талантливая писательница Надежда Александровна Лохвицкая (по мужу Бучинская). Она родилась 27 апреля 1872 года в родовитой дворянской семье, детство провела в имении на Волыни. От прадеда и матери-француженки ей передался литературный талант. Впрочем, ее сестры, Елена и Мария, тоже рано стали писать стихи. Чтобы отличаться от старшей сестры – известной поэтессы Мирры Лохвицкой, она придумала себе псевдоним Тэффи. Возможно, это имя заимствовано из рассказа Р. Киплинга „Как было написано первое письмо“, героиня которого – маленькая своевольная девочка с чутким сердцем и мятежной душой.

Первые стихи, собранные в книге „Семь огней“ (1910), не принесли Тэффи успеха. Гораздо больше нравились читателям ее фельетоны в газетах и рассказы, печатавшиеся в „Сатириконе“. Ее даже называли „королевой фельетона“. Тонкая ирония, скрытый психоло-

гизм, поистине чеховское изящество языка выделяли их из огромного потока юмористической литературы, который обрушился на Россию после революции 1905–1907 годов. В 1910 году вышел первый сборник „Юмористических рассказов“ Тэффи, который принес ей всероссийскую известность. В центре внимания писательницы каждодневная жизнь человека, заданного кошмаром российской действительности.

Высмеивая царство всеобъемлющей глупости, она делит все население Земли на людей и человекообразных. Первый из человекообразных, „девятиглазый гад с чуткими усиками и перепончатыми лапами“, когда-то выполз из воды на землю, стал жить с людьми, приспособился к ним и преобразился, но все равно остался человекообразным. Его можно узнать даже в театре на представлении комедии, когда раздаётся два взрыва смеха: сначала смеются люди, а потом человекообразные. „Они крепнут все более и более и скоро задавят людей, завладеют Землею“, – предсказывает Тэффи.

Человекообразные символизируют у Тэффи многоликое, вездесущее мещанство, которое кажется ей непобедимым. Его облики могут быть разными: от милой гимназистки Манечки Кукусиной, которая срезалась на экзамене из-за собственной глупости, до вице-губернатора, не имеющего своего мнения. Торжество пошлости и глупости ужасает Тэффи, весь мир кажется ей царством всеобъемлющего и непобедимого мещанства. Даже достижения науки и техники, прогресс человечества в XX веке не спасают мир от человекообразных, которые пробираются в самое святое – царство человеческого духа – и там опошляют все.

В рассказе „Когда рак свистнул“ Тэффи пытается представить себе, что будет, если ученые изобретут средство для исполнения всех человеческих желаний, осуществления самой заветной и тайной мечты. Ведь такая есть у каждого человека, а значит, будет открыто средство сделать людей счастливыми. И вот мальчик, которому хотелось жить лучше, посвящает свою жизнь выведению такого рака, который умеет свистеть. После его смерти работу продолжает сын и наконец делает открытие. Американская акционерная компания, которая сразу же воспользовалась трудами русских ученых, приглашает всех за деньги послушать, как свистнет рак.

Но, оказывается, великое открытие принесло пользу только маленькой девочке, которая досаждала тетке своим насморком. Пошлость и глупость восторжествовали и тут. Один пожелал жене „чтоб ты сдохла“, другой – „чтоб ты провалилась сквозь землю“, кто-то захотел, чтобы две сплетницы подавились своими языками. И все это исполнилось. Тэффи горестно иронизирует: неизвестно, какие беды обрушились бы на человечество, если бы рак не сдох, ибо жадные до прибыли американцы все время понуждали его свистеть. По мысли писательницы, никакие великие открытия, никакой революционный переворот не спасут человечество от пошлости и глупости, и только смех может одержать победу над человекообразными.

В своих рассказах Тэффи иронизирует над слабостями человекообразных, отсутствием логики в их поведении, над тщетными усилиями пробраться „в человеки“. Ее юмор окрашивается грустью и печалью, комическое все чаще сближается с трагическим. В отличие от „краснощекоего юмора“ Аверченко по своему элегическому тону и глубине психологического подтекста он напоминает смех Чехова. Сравним два рассказа: „Даровой конь“ Тэффи и „Роковой выигрыш“ Аверченко. На первый взгляд они очень похожи: герой Аверченко писец Еня Плинтусов выигрывает в лотерею корову, акцизный чиновник Уткин в рассказе Тэффи – лошадь. Оба они не знают, что делать с „живыми призами“, и эта ситуация становится источником целой цепи смешных и грустных событий, описываемых далее.

Однако тема „маленького человека“, характерная для русской литературы XIX века, раскрывается в этих рассказах по-разному. Аверченко занимает анекдотический случай с Еней сам по себе. Он не скупится на юмористические детали, рисуя ссору героя с невестой, которая не хочет идти гулять рядом с коровой, реакцию мальчишки на улице („Коровичий сын свою маму спать ведет!“), беспредельное изумление жильца и хозяина дома, увидевших, что Еня привел корову в свою комнату. Понимая, что ни один здравомыслящий человек не сделает так,

Аверченко даже оговаривается: „Может быть, весь мир нашел бы этот поступок Ени удивительным, вздорным, ни на что не похожим. Весь мир, кроме самого Ени да, пожалуй, коровы“.

Веселый смех, который рождается во время чтения рассказа, основан на чувстве читательского превосходства. Сравнивая себя с героем, он думает: „Я бы так не сделал!“, „Я бы поступил умнее: взял бы деньги и пошел гулять с невестой“. Но Аверченко настаивает на своем, ибо неправдоподобный случай для него лишь „ключ к музыкальной пьесе“. Еня никак не может оставить корову, ведь она его *собственная*, а у „маленького человека“ никогда не было собственности. Обращаясь к читателю, Аверченко поясняет: „Корова – это ключ к музыкальной пьесе. Понятно, что в этом ключе и должна разыгаться вся пьеса...“

Писатель пытается передать музыку жизни, ее блеск и полноту, потому из любого пустяка он делает музыкальную пьесу, то есть юмористический рассказ. При этом ему более важна оркестровка, чем жизненное правдоподобие. В конце рассказа он пишет: „И призадумался Еня над тщетой всего земного: вчера у Ени было все: корова, жилище и любимая девушка, а сегодня все потеряно...“ Корову украли, из дома выгнали, девушка ушла навсегда. Анекдотический случай для Аверченко – одна из многочисленных шуточек злодейки судьбы, с которой ничего не поделаешь. Его смех – это юмор абсурда.

Тэффи никогда не разговаривает с читателем в открытую, не убеждает его, а подводит к выводам самого. Вся система художественных образов, психологический подтекст, авторская ирония наводят на мысль, лежащую в основе рассказа. В „Даровом коне“ это мысль о суетности жизни, о бессмысленности мелкого честолюбия, о тине мелочей, засасывающей человека. Уткин оказывается в трагикомическом положении: он отказывает себе во всем, чтобы накормить и сберечь лошадь. Обладание ею возвышает его в собственных глазах и в глазах окружающих. Счастливый выигрыш для него, мелкого чиновника, – улыбка судьбы. Поэтому лошадь становится символом честолюбивых мечтаний, надеждой „маленького человека“ на какую-то иную жизнь.

Смешные поступки Уткина, обусловленные его желанием хоть как-то выделиться из толпы, характерны для мелкого провинциального чиновника, то есть социально обоснованы. Комизм рассказа строится на глубинном обнажении психологии героя. Внутренняя логика событий неумолимо ведет к финалу: Уткин никак не может освободиться от лошади. Его „съела“ не она, а та система общественных отношений, при которой он вынужден изо всех сил тянуться, чтобы быть „на уровне“, соответствовать той роли, которую играет. Тэффи показывает это с помощью психологического подтекста, передающего тончайшие нюансы настроений и чувств героя.

Иногда в ее рассказах роль катализатора мысли играет последняя фраза. Рассказ „Дураки“ Тэффи начинается с посылки: „Кажется, будто все понимают, что такое дурак и почему дурак чем дурее, тем круглее“, а потом доказывает, что вопрос сложнее, чем кажется. В сатирической лекции о дураках она разбирает все их достоинства и недостатки и приходит к выводу, что есть особая разновидность – дураки набитые. Это те, кто всю жизнь учится, но все, что в них набивают, непременно вываливается обратно. Кажется, что писательница одобряет дурака: он хорошо устраивается в жизни, он удобен и приличен, его даже выбирают в председатели разных обществ и представители чьих-нибудь интересов. Во всех жизненных ситуациях он руководствуется тремя аксиомами: „здоровье дороже всего“, „были бы деньги“, „с какой стати“ и постулатом „так уж надо“.

Но читатель, даже соглашаясь кое в чем с писательницей, постоянно чувствует ее тонкую иронию: „Вся душа дурака словно облизана широким коровьим языком. Кругло, гладко. Нигде не зацепит“. И словно прозрение – финал рассказа: круг, замкнутый дураком в политике, науке или искусстве время от времени прорывается, если кто-то почувствует: „О, как жутко! О, как кругла стала жизнь! И прорвет круг!“ Последние фразы, звучащие как философское обобщение, высвечивают истинное отношение Тэффи к глупости. Она обыгрывает

слово „круглый“ (круглый дурак, круглые мысли, круглая жизнь), чтобы остроумно разоблачить мещанство, которое побеждает в жизни.

„О, как жутко!“ – подтекст многих произведений Тэффи, внешне забавных, внутренне глубоко трагичных. В сборниках „И стало так“ (1912), „Карусель“ (1913), „Дым без огня“ (1914), „Житье-бытье“ (1916), „Неживой зверь“ (1916) комическое тесно сплетается с трагическим, мягкий добрый юмор сменяется горькой иронией и сарказмом. Раскрывая трагедию тусклого обывательского существования без идеалов и надежд, Тэффи обнажает ложь, пустоту, мелочность, фальшь, скрытые под фасадом благопристойности и внешнего приличия.

Она создает цикл иронических рассказов о человеческих страстях и пороках. Ложь, по определению Тэффи, – „сокровище земли“, ибо она концентрирует массу напрасно пропадающей вральской энергии, дурак – „зародыш конца мира“, лень – двигатель прогресса. Человеческому лени было рыть землю руками, и он придумал лопату, лень ходить пешком, и он изобрел паровоз. Отсюда – сатирическое умозаключение, что лень – лучшее природное качество, „мать всей культуры“. Разумеется, все эти умозаключения нельзя принимать всерьез. Лень, глупость, жадность, подлость, замешанная на лжи, и прочие человеческие пороки заставляют писательницу усомниться в самом человеке и вызывают ее отчаянный возглас: „О, как жутко!“

Особенно тонко Тэффи чувствует души детей и показывает их маленький мирок с доброй и светлой улыбкой. В ее рассказах, как и у Аверченко, много автобиографических черт. „Мой первый Толстой“ – это ее знакомство с „Войной и миром“, детская влюбленность в Андрея Болконского и даже ревность к Наташе Ростовской. В рассказе „Счастливая“ две Тэффи: маленькая девочка, душа которой разрывается от счастья при виде конки, и взрослая женщина, у которой та же конка вызывает совсем другие чувства. „Любовь и весна“ – рассказ со слов ее дочери Гули Бучинской, а в рассказах „Чертик в баночке“, „Троицын день“, „Брат Сула“, „Валя“, „О нежности“ легко узнается сама Тэффи и ее сестры. Общую тему этих рассказов можно определить как сопоставление светлого детства и суровой взрослой жизни, где умирают все иллюзии и ожесточается душа.

Лучшая книга дореволюционных рассказов Тэффи „Неживой зверь“ пронизана трагическим ощущением неблагополучия жизни. В предисловии она даже предупредила читателя, что в книге много невеселого, чтобы ее не упрекали за отсутствие беззаботного смеха. Одиноки и незащищены маленькие герои Тэффи, которым так не хватает внимания взрослых и домашнего тепла. С удивительным проникновением в душу ребенка писательница рисует в рассказе „Неживой зверь“ переживания девочки Кати, у которой постоянно ссорятся мама с папой. Ее единственным другом становится „неживой зверь“, игрушечный баран с мягкой шерсткой и доброй мордочкой. Ласковый зверь противопоставлен живым, но жестоким „лисийим бабам“, матери „с птичьим личиком“, которая давно с Катей не разговаривала, так как занималась только собой и своими романами, учительнице, похожей на старого цепного пса („даже около глаз были у нее какие-то желтые подпалины, а голову поворачивала она быстро и прищелкивала при этом зубами, словно муху ловила“).

Прием противопоставления звериного мира взрослых игрушечному, иллюзорному, но доброму миру ребенка позволяет писательнице показать пропасть, разделяющую Катю и окружающих людей. Трагедия девочки в том, что она так же незащищена, как баран, которого терзают крысы. Сопоставление звериного и человеческого, которое мы находим во многих рассказах Тэффи, часто оказывается не в пользу людей. Повествуя о жизни старого льва и львицы в цирке, где их безжалостно мучает злой и грубый дрессировщик, Тэффи называет зверей „стариком и старухой“, а человека – зверем.

В рассказе „Пар“ легкомысленной и пустой актрисе Арвидовой противопоставлена ее собачка Тяпка, преданное и любящее существо, способное на глубокие, поистине человеческие чувства. Та же мысль в рассказе „О вечной любви“. Герой, хвастающийся, что знал вечную любовь, в итоге убеждает читателя, что его история – лишь свидетельство эгоизма и лег-

комыслия человека, которому очень быстро надоела его возлюбленная. А вот голубь не смог жить после смерти своей голубки и вел себя так самоотверженно, что человеку можно было бы только поучиться.

В сборнике „Неживой зверь“ явственно проглядывает положительный идеал Тэффи, общий для большинства сатириков: дети – звери – природа – народ. Она рисует колоритные фигуры людей из народа: деревенские бабы, кухарки, прачки, няньки, кучера. Можно только удивляться, как могла писательница, утонченная светская дама, красавица и эстетка, так почувствовать психологию простого человека, вжиться в его образ, мастерски передать его склад ума, народный говор, бытовое просторечие.

Возьмем хотя бы рассказ „Потаповна“, героиня которого, пожилая кухарка, собирается замуж за человека старше себя. Их брак будет основан не на любви и взаимном уважении, а на простом расчете: кто первым умрет. Тогда второй сможет воспользоваться его имуществом. Писательница не осуждает Потаповну и ее жениха, никак не высказывает своего отношения к ним, она просто высвечивает их души и мысли с помощью доброго и одновременно грустного смеха. Она как бы говорит читателю: „Да, такова жизнь, таковы люди, и мы не вправе судить их“.

Тэффи не идеализирует своих героев. Они такие, как в жизни: озабоченные каждодневными проблемами, задавленные тяжелой работой, далекие от господ и по уровню культуры и по своим интересам. Но она чувствует кровное родство с ними и старается заметить ту искорку добра и красоты, которая есть в деревенской девке Ганке, в бабе Матрене, пожалевшей подстреленного зайца, или в стариках, живущих в тихой заводи и охраняющих барское добро. Потом, в эмиграции, ей будет так не хватать простого русского человека, что она вспомнит и о деревенских странниках, и о работниках в родном имении, и о няньках, кухарках, прачках, встречавшихся на ее пути. И напишет рассказ „Воля“, где свое, русское, противопоставлено чужому, европейскому, и даже французская „свобода“ не может заменить той воли, которая бывает только на родине и слышится в журавлиных криках. Природа, созвучная настроению человека, врачующая душу и тело, станет постоянным мотивом ее позднего творчества.

В 1918 году вместе с Аверченко и группой актеров Тэффи уехала из революционного Петербурга на гастроли. Она не собиралась эмигрировать, но так и не смогла перешагнуть через струйку крови, которую увидела у ворот комиссариата. „Шарманка сатаны“ закрутила ее на юге. Мелькали, как в карусели, города: Гомель, Киев, Одесса, Екатеринодар, Ростов-на-Дону, Кисловодск... В аллегорическом рассказе „На скале Гергесинской“, написанном в Одессе в 1919 году, она призналась, что для нее, как и для многих россиян, невозможно было принять большевистский мир, где „нет религии, нет закона, нет обычая и определенного (хотя бы тюремного, каторжного уклада)“, а люди обращены в „рычаги, ремни, винты, колеса и приводы великой машины“.

Расставание с родиной оказалось для Тэффи настоящей трагедией. Она писала в своих „Воспоминаниях“: „Дрожит пароход, стелет черный дым. Глазами, до холода в них раскрытыми, смотрю. И не отойду. Нарушила свой запрет и оглянулась. И вот, как жена Лота, застыла, остолбенела навеки и веки видеть буду, как тихо, тихо уходит от меня моя земля“. В Париже, где вскоре оказалась Тэффи, она проживет более тридцати лет, напишет много книг, станет всеобщей любимицей в эмиграции, но все время будет слышать тот „черный бесслезный плач“, который раздавался на набережной в день ее отъезда. На корабле по пути в Константинополь она напишет стихотворение, ставшее широко известным как „Песня о родине“ в исполнении А. Вертинского:

К мысу радости, к скалам печали ли,
К островам ли сиреневых птиц —
Все равно, где бы мы ни причалили,

Не поднять мне тяжелых ресниц.

В эмиграции голос Тэффи зазвучал грустно и тревожно, а смех окрасился нотами тоски по родине. Герой рассказа „Ке фер?“ – русский генерал-беженец, в котором узнается Н. А. Лохвицкий, старший брат писательницы, командующий Экспедиционным корпусом во Франции во время Первой мировой войны. Несмотря на то что он давно и хорошо знаком с французской жизнью, эмиграция даже для него – трагедия. Оказавшись на площади Согласия и посмотрев на говорливую парижскую толпу, он произнес: „Все это, конечно, хорошо, господа! Очень даже все хорошо. А вот... ке фер? Фер-то ке?“

Извечный русский вопрос, мучивший не одно поколение интеллигенции, – „что делать?“, звучит комически во французском переводе, тем более в перевернутом виде: „Делать-то что?“ Оказавшись во Франции, так называемые лерюссы (русские) стали жить странной, ни на что не похожей жизнью. Боевые офицеры работали шоферами, генералы – швейцарами, светские дамы модистками и вышивальщицами. Иногда открывались русские рестораны и трактиры, где брюнеты исполняли цыганские песни и танцы, а блондины – украинские. Они не смешивались с французами, а жили обособленно, либо в квартале Пасси, либо на Ригвоше.

В своих рассказах Тэффи с блистательным остроумием описывает жизнь эмигрантского „городка“ внутри Парижа и странное племя лерюссов, населяющее его:

„Через городок протекала речка. В стародавние времена звали речку Секваной, потом Сеной, а когда основался на ней городишко, жители стали называть ее „ихняя Невка“. Но старое название все-таки помнили, на что указывает существовавшая поговорка: „Живем, как собаки на Сене, – худо!“ Горестная ирония сочетается в эмигрантских рассказах писательницы с трогательной жалостью и нежностью. Ей чужда характерная для Аверченко обида белогвардейца на историю. Более того, она порой очень зло высмеивает тех, кто и в Париже „спасает родину от большевиков“ и спекулирует на патриотических чувствах простых людей. Такие рассказы Тэффи, как „Ке фер?“ и „Городок“, понравились В. Ленину и были перепечатаны в 1920 году в газете „Правда“.

В эмиграции Тэффи написала более десяти книг: „Рысь“ (1923), „Городок“ (1927), „Книга июнь“ (1931), „Ведьма“ (1936), „О нежности“ (1938), „Все о любви“ (1946), „Земная радуга“ (1952) и др. В этих произведениях раскрывается трагедия русской эмиграции, воскрешают забытые картины жизни на родине и „типы прошлого“, мир славянских мифов и поверий, нарисованы живые образы детей и животных, поэтические картины природы, но более всего в них откровенных авторских раздумий о жизни и мире, о собственной судьбе. Смех Тэффи окрашен светлой печалью, осложнен философскими размышлениями о коренных проблемах бытия. Из ужаса жизни, по мнению писательницы, ведут пять путей: религия, наука, искусство, любовь и смерть. Она верит в теорию „мировой души“, общей для всего живого, воспекает такие общечеловеческие ценности, как любовь, сострадание, нежность, чуткость к ближним, умение прощать.

В 1930-1940-х годах Тэффи все дальше уходит от светлого чеховского юмора, характерного для дореволюционных рассказов, и от гоголевского „смеха сквозь слезы“. Подтекст ее рассказов, как правило, грустен, а концовки трагичны: крах всех надежд, взрыв отчаяния, самоубийство, смерть. Раздумья о смерти, иллюзия счастья, жертвенная любовь – вот основные темы ее поздних книг. „Всю жизнь люди вертятся, как собака за хвостом, прежде чем улечься“, – горестно иронизирует она. И пишет в одном из писем другу: „Все мои сверстники умирают, а я все чего-то живу. Словно сижу на приеме у дантиста, а он вызывает пациентов, явно путая очередь, а мне неловко сказать, и сижу, усталая, злая...“ И еще ему же: „Анекдоты смешны, когда их рассказывают. А когда их переживают, это трагедия. И моя жизнь – это сплошной анекдот, т. е. трагедия“.

Тэффи скончалась 6 октября 1952 года и похоронена в предместье Парижа на русском кладбище Сен Женеьев де Буа неподалеку от И. Бунина. В могилу она просила положить маленький кипарисовый крестик, который когда-то привезла из Соловецкого монастыря. Незадолго до смерти она сказала дочери: „Думаю, что в моих произведениях я правильно поняла детскую психологию и поняла также животных и их переживания“. Рассказы Тэффи о детях и для детей написаны большим мастером слова, поэтому они пережили свое время. Один из критиков писал: „Тэффи-юмористка – культурный, умный, хороший писатель. Серьезная Тэффи – неповторимое явление русской литературы, подлинное чудо, которому через сто лет будут удивляться“.

Выдержал испытание временем и смех Саши Черного. Под этим псевдонимом выступал в литературе талантливый поэт и прозаик Александр Михайлович Гликберг. Он родился 1 октября 1880 года в Одессе, в семье провизора, детство провел на Украине, учился в Житомире и там же начал печататься в газете „Волынский вестник“. Всероссийская известность пришла к нему после того, как в „Сатириконе“ он стал одним из поэтических лидеров. Из номера в номер в журнале появлялись его хлесткие остроумные сатиры из циклов „Всем нищим духом“ и „Быт“. Их герой – либеральный интеллигент, протрубивший „отбой“ революционным идеям и сменивший яркую одежду на засаленный домашний халат. Рисуя его портрет, Саша Черный предельно ироничен. Интеллигент, храпящий на диване, „страшно и тупо устал“ от того, что похоронил все надежды, он ни во что больше не верит и не хочет ничего читать. Вокруг него „на полу вороха неразрезанных книжек и разбитых скрижалей куски“. Сатирическое разоблачение ренегатствующей интеллигенции усиливается тем, что сатира звучит как лирическая исповедь, интимная жалоба, произносимая от первого лица. Саша Черный как будто и сам подчиняется обывательской стихии, засосавшей героя:

И сказал я, краснея, тоскуя и злясь:
„Брат! Подвинься немножко“.

Разоблачая „всех нищих духом“, Саша Черный искренен и беспощаден. Обывательский быт, разросшийся до размеров бытия, предстает в его сатирах омерзительным и страшным:

Семья – ералаш, а знакомые – нытики,
Сплошной карнавал мелюзги.
От службы, от дружбы, от прелой политики
Безмерно устали мозги.

В Петербурге, который описывает поэт, „по улицам шляется смерть“, выбирая все новые и новые жертвы, а рядом с ней еще более страшная „духовная смерть свирепеет и слепому косит, пьяна и сильна“. Герой Саши Черного безмерно устал от бессмысленных разговоров о политике, от заседаний бездарной Думы, от скандалов и пустых споров, от поисков истины. Мир кажется ему огромным и грязным домом сумасшедших, а будущее беспросветно-темным.

Выступив как рыцарь духа в борьбе с безнравственностью, Саша Черный, как и другие сатириконицы, видит главного врага в Пошлости, портрет которой рисует в одноименном стихотворении:

Она в родстве и дружбе неизменной
С бездарностью, нахальством, пустяком.
Знакома с лестью, пафосом, изменой
И, кажется, в амурах с дураком.
Ее не знают, к счастью, только... Кто же?

Конечно, дети, звери и народ.
Одни – когда со взрослыми не схожи,
А те – когда подальше от господ.

В 1910 году вышла первая книга „Сатир“ Саши Черного, а в 1911-м вторая, которая называлась „Сатиры и лирика“. В ней наряду с разоблачением обывателя и резкой критикой пошлости были слышны лирические ноты в изображении природы и русской деревни. В пред-революционные годы писателя все больше занимает детская тема. Мир детских переживаний с его нравственной чистотой, наивностью, свежестью и яркостью восприятия воплощал для Саши Черного идеал прекрасного „естественного“ человека, свободного от пошлости взрослой жизни.

С 1914 года Саша Черный стал выступать в литературе как детский писатель: писал сказки и рассказы для детских альманахов „Жар-птица“ и „Елка“, стихотворения, впоследствии собранные в книге „Детский остров“ (1921), выпустил художественное пособие для обучения детей грамоте „Детская азбука“. Он как бы спрятался на „детский остров“ от тревог и забот действительности, которая становилась все более суровой. Писатель прекрасно понимал интересы детей, сам жил их маленькими печалью и радостями и всегда ощущал свою принадлежность к иному, не взрослому миру. В стихотворении „Настроение“ он писал:

Ли-ли. Мне скучно взрослым быть
Всю жизнь до самой смерти
И что-то нудное пилить
В общественном концерте.

После октября 1917 года Саша Черный с женой уехал в Литву, а в марте 1920 года в Германию. Так начались горестные эмигрантские странствия, в которых его могли утешить лишь три радости: „дети, звери и народ“. Первая книга, вышедшая за рубежом, была сборником „Детский остров“. Задорные и озорные, нежные и лирические стихи повествовали о детях, с которыми дружески беседует автор. Он описывает их игры и заботы: катание на коньках, игру в цирк, суету вокруг замерзшей во дворе снежной бабы. Живые детские голоса звучат в книге, перебивая друг друга. Образы детей раскрываются с помощью монолога, диалога и даже вопросов мальчика-„приставалки“:

Отчего у мамочки на щеках две ямочки?
Отчего у кошки вместо ручек ножки?
Отчего шоколадки не растут на кровати?

Автор прекрасно знает детскую психологию, бережно и любовно относится к внутреннему миру детей. В общении с ними наиболее полно раскрывается его душа – душа большого и доброго ребенка. Во втором разделе „Детского острова“ Саша Черный с не меньшей любовью и талантом описал четвероногих друзей ребят: хрюшку и жеребенка, преданного пса Арапку, хитрого лакомку кота и умную грустную мартышку. Детский мирок отразился в этой книге во всем разнообразии и полноте.

Поселившись в Берлине, потом в Риме и, наконец, в Париже, А. Черный (так теперь стал подписываться автор) не потерял присущей ему детскости. Более того, именно в эмиграции он раскрылся как замечательный детский писатель. Достаточно перечислить книги, которые он написал для русских детей: „Сон профессора Патрашкина“ (1924), „Дневник фокса Микки“ (1927), „Кошачья санатория“ (1928), „Чудесное лето“ (1929), „Серебряная елка“ (1929), „Белка-мореплавательница“ (1933) и др. Воспоминания о собственном детстве, о

„самом страшном“, что случилось с ним в гимназии, об учебнике физики, который помог выпутаться из затруднительного положения, соседствовали в этих рассказах с описаниями жизни эмигрантских детей („Патентованная краска“, „Тихая девочка“, „Буйабес“). Тут же рассказы о животных: белке, которая нечаянно оказалась в лодке и уплыла в море от родного дупла, „гениальном осле“, освоившем вместе с детьми катание на гигантских шагах, и др.

А. Черный всеми силами пытается напомнить детям, растущим в чужой стране, о России, рассказать об ее истории и культуре, о великих людях прошлого. Участь во французских школах, общаясь со сверстниками на другом языке, они неминуемо забывали родную речь. Поэтому А. Черный издает антологию „Радуга“, где собраны лучшие стихи русских поэтов, сборник „Молодая Россия“, альманах „Русская земля“, задумывает детский сборник „Цветень“. Он писал А. Куприну: „Хотелось бы все-таки для русских детей еще что-нибудь состряпать, они тут совсем отвыкают от русского языка, детских книг мало, а для них писать еще можно и нужно...“

„Состряпал“ он замечательную книгу „Дневник фокса Микки“, в которой рассказал о своей любимой собаке. Он уверяет, что собаки так умны, что могут сами вести дневник.

Умение вжиться в образ своих героев, будь то дети, звери или простой человек, А. Черный продемонстрировал в последней книге, вышедшей уже после его смерти, – „Солдатские сказки“. Ее герой – человек из народа, русский солдат, которого писатель близко узнал в годы Первой мировой войны. Рядовой из вольноопределяющихся, он служил в санитарной части Пятой армии под Варшавой. В госпиталь, расположенный в здании Варшавского университета, доставляли тяжелораненых, обмороженных, отравленных немецкими газами солдат. В лазарете или в солдатской казарме, часто беседуя с простыми солдатами, писатель оценил их выдержку и находчивость, спокойное мужество и завидную выносливость.

Через много лет во Франции он вспомнил эти беседы и написал цикл сказок, воскресив реальный мир солдатской жизни в годы Первой мировой войны. Остросюжетные, увлекательные, блистательно остроумные, они написаны в форме сказа и напоминают произведения Н. Лескова, в том числе знаменитый сказ о Левше, подковавшем блоху. Герои А. Черного похожи на бравого солдата из русских народных сказок, который в огне не горит и в воде не тонет. Он находчив и смел, умен и добродушен, легко справляется со всякой нечистью и одолевает любого врага.

Герой рассказа „Замиритель“ придумывает способ выкрасть немецкого императора Вильгельма и покончить с войной. В сказках „Солдат и русалка“, „Армейский спотыкач“, „Королева – золотые пятки“ он обманывает лукавую русалку, выгоняет леших и прочую погань, спасает королеву, которую заколдовал домовый. Одного он не может: терпеть барские затеи и подчиняться барынинным каблучкам („Катись горошком“). В сказке „Кабы я был царем“ герой никак не может свыкнуться с жизнью во дворце и приказывает самого себя в рядовые „разжालовать да в свою роту тую ж минуту откомандировать“.

Все „Солдатские сказки“ подчинены замыслу А. Черного – озарить серые эмигрантские будни веселым и беззаботным смехом, увести читателя из тесной парижской квартиры на островок юмора и веселой выдумки. Это не столько сказки, сколько солдатские байки и побрехушки, рассказанные колоритным языком на привале или в лазарете. Их достоинство в непринужденной манере повествования, в передаче живой и бойкой солдатской речи. Все события, о которых повествуется в сказках, пропущены сквозь призму жизненного опыта и личности рассказчика – простого русского человека.

Вот как он рассуждает о беспечной жизни королевы: „Паек ей шел королевский, полный, что хошь, то и заказывай. Хоть три куса сахара в чай клади“. У лешего из сказки „Армейский спотыкач“ „харч был готовый“, а поганую нечисть в лесу солдат смог одолеть только крепкой настойкой с махоркой и мухоморами. В сказке „Кому за махоркой идти“ оказывается, что самая неправдоподобная история не может сравниться с действительной жизнью солдат и офицеров.

Народная речь, пересыпанная солеными солдатскими шуточками, слышится в каждой сказке. Повествование, как правило, идущее от первого лица, порой сопровождается репликами рассказчика: „Не перебивайте-ка, братцы!“, „Дале что ж и говорить!“. Рассказ часто дополняется комментарием: „Расписки не давал, ан честь в трубу не сунешь“, „Съел он блин, даже в маслице не омакнувши“, „Как у нас, братцы, говорится, приданое на грядке, а увечье на спине“, „Известно, не бывает поля без ржи, слухов без лжи“, „Вздурлся волдырь да и лопнул!“, „Кто их там, чертей, разберет, братцы“...

В сказках А. Черного солдат-рассказчик и сам автор не сливаются. Рассказчик, бывший крестьянин, живет общей солдатской жизнью, думает и поступает, мучается и радуется вместе со всеми. Образ автора нигде не выступает на первый план. Он мелькает только в сказке „Кавказский черт“, которая является солдатским пересказом поэмы Лермонтова „Демон“. Герой вспоминает „сказку про кавказского черта“, которую читал им на маневрах один вольноопределяющийся, то есть сам автор. А. Черный вспоминал: „Мне было поручено обучать грамоте солдат в учебной команде, что я и делал с большим удовольствием – целые два года“.

В солдатском пересказе текст „Демона“ превращается в раешник, щедро расцвеченный солдатским юмором и разговорной народной речью. Вот как звучит знаменитый монолог Демона „Клянусь я первым днем творенья“: „Клянусь своим страстным позором и твоим черноокиим взором, клянусь Арарат-горой и твоей роскошной чадрой, что от всей своей дикой подлости дочиста отрекаюсь, буду жить честно, в эфирах с тобой купаться будем, и все твои капризы сполнять обещаюсь даже до невозможности“. Мастерство стилизации и эффект подлинности в „Солдатских сказках“ настолько велики, что часто трудно отличить народные пословицы и поговорки от сочиненных писателем: „Солдатское слово – не олово“, „Чей бы бычок ни скакал, а у девки дите!“, „Ждучи лошины, поглодаешь осины“, „За бритого двух небритых дают“, „Около хвоста меду не ищут“, „Чтоб тебе ежа против шерсти родить!“.

Герои многих сказок А. Черного, как и положено русскому человеку, – правдоискатели. В сказке „Правдивая колбаса“ солдат подсовывает злому фельдфебелю „средствие“, съев которое тот начинает резать правду-матку в лицо начальству. Лукашка из сказки „Мирная война“ внушает королям двух враждующих королевств, что лучше всего правда мирного сосуществования и можно покончить с войной без кровопролития. За сказочными сюжетами часто просматриваются реальные жизненные ситуации. Герой сказки „Сумбур-трава“ Федор Лушников придумывает, как бы сбежать из лазарета в родную деревню хоть на денек.

Главным достоинством „Солдатских сказок“ является своеобразный язык, передающий особенности психологии простого русского человека, не унывающего даже в самых сложных условиях. Образ солдата, унесенный А. Черным в эмиграцию вместе с томиком Н. Лескова, оказался последней ниточкой, связывающей его с родиной. Одному из друзей он признался: „Все дальше с каждым днем мы от Родины, все туманнее образы, унесенные с собой, – жизнь и время стирают их и скоро совсем сотрут. Духовная смерть страшнее физической“. Писатель спасался от духовной смерти с помощью веселого искреннего смеха и сам не раз признавался в этом:

И смех, волшебный алкоголь,
Наперекор земному аду,
Звения, укачивает боль,
Как волны мертвую наяду.

Но смех не спас писателя от смерти физической. Летом 1932 года А. Черный с женой и фоксом Микки жили на юге Франции в небольшом курортном поселке Ла Фавьер. Август был очень жаркий, и на соседней ферме вспыхнул пожар. А. Черный бросился тушить, а когда помощь была уже не нужна, вернулся домой и скоропостижно скончался от сердечного при-

ступа. Существует свидетельство, что, не пережив его смерти, фокс Микки прыгнул на кровать и тоже умер. И хотя очевидцы уверяют, что фокса отравили фермеры, у которых он воровал утят, хочется верить в легенду о его гибели.

Александр Михайлович Гликберг похоронен на небольшом сельском кладбище в департаменте Вар. Когда известие о его смерти пришло в Париж, Куприн написал: «И рыжая девчонка лет одиннадцати, научившаяся читать по его азбуке с картинками, спросила меня под вечер: „Скажите, это правда, что моего Саши Черного больше уже нет?“» И у нее задрожала нижняя губа. «Нет, Катя, – решил я ответить. – Умирает только тело человека, подобно тому, как умирают листья на дереве. Человеческий же дух не умирает никогда. Потому-то и твой Саша Черный жив и переживет всех нас, и наших внуков, и правнуков...»

Итак, перед вами рассказы трех сатириконских авторов, очень разных и вместе с тем единых в своем понимании роли и значения смеха в жизни человека. Для Аверченко юмор – это лекарство, с помощью которого можно врачевать душу, для Саши Черного – волшебный алкоголь, помогающий забыть о тяжелом и страшном. Тэффи всю жизнь верила, что «противление злу смехом» может изменить самого человека и его жизнь. Именно это сделало сатириконцев любимыми авторами миллионов читателей во всем мире, независимо от возраста и убеждений. Их рассказы нравились и царю Николаю II, и красным комиссарам, и белогвардейским офицерам, и маленьким детям. Популярность писателей до революции была колоссальной! Аверченко получал письма с просьбой помочь в самых затруднительных положениях, научить жить. Портрет Тэффи одна кондитерская фирма поместила на конфетах, которые хорошо раскупались. «Сатиры» Саши Черного за пять лет выдержали семь изданий.

В годы советской власти о сатириконцах забыли почти на полвека, так как писателям-эмигрантам не было места в нашей литературе. Только в 1960-х годах в СССР появились первые небольшие книжечки Аверченко, Тэффи и Саши Черного, а по-настоящему они пришли к российскому читателю лишь в самом конце XX века. Между тем их место в истории русской литературы весьма значительно: сатириконцы были звеном, связавшим дореволюционную и советскую юмористику.

М. Зощенко, по собственному признанию, учился у Тэффи умению найти «прекрасно смешные слова». «Веселые устрицы» Аверченко, «человекообразные» Тэффи, «нищие духом» герои Саши Черного ожили в романах Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», на страницах советских сатирических изданий. Они и сегодня живы и будут жить до тех пор, пока существует и даже побеждает людей обывательская пошлость. Не будем писать ее с большой буквы, как это делал Аверченко, она того не заслуживает. Может быть, смех и вправду победит ее когда-нибудь, ведь юмор, по меткому определению Аверченко, – «это дар богов».

Л. Спиридонова

Аркадий Аверченко

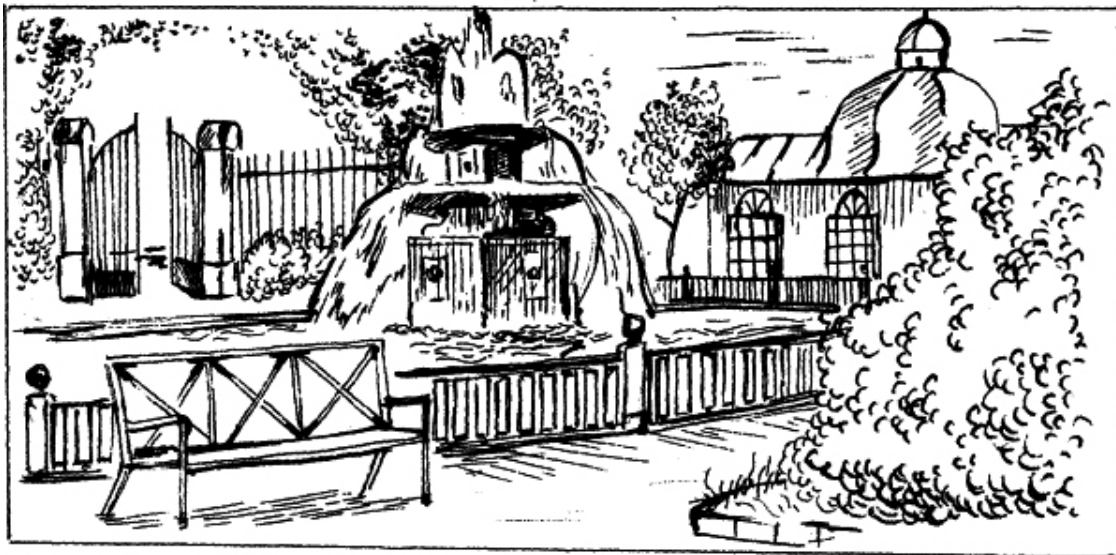




1881 - 1925

Слепцы

Посвящается А. Я. Садовской



Королевский сад в эту пору дня был открыт, и молодой писатель Ave беспрепятственно вошел туда. Побродив немного по песчаным дорожкам, он лениво опустился на скамью, на которой уже сидел пожилой господин с приветливым лицом.

Пожилой приветливый господин обернулся к Ave и после некоторого колебания спросил:

– Кто вы такой?

– Я? Ave. Писатель.

– Хорошая профессия, – одобрительно улыбнулся незнакомец. – Интересная и почетная.

– А вы кто? – спросил простодушный Ave.

– Я-то? Да король.

– Этой страны?

– Конечно. А то какой же...

В свою очередь Ave сказал не менее благожелательно:

– Тоже хорошая профессия. Интересная и почетная.

– Ох и не говорите, – вздохнул король. – Почетная-то она почетная, но интересного в ней ничего нет. Нужно вам сказать, молодой человек, королевствование не такой мед, как многие думают.

Ave всплеснул руками и изумленно вскричал:

– Это даже удивительно! Я не встречал ни одного человека, который был бы доволен своей судьбой.

– А вы довольны? – иронически прищурился король.

– Не совсем. Иногда какой-нибудь критик так выругает, что плакать хочется.

– Вот видите! Для вас существует не более десятка-другого критиков, а у меня критиков миллионы.

– Я бы на вашем месте не боялся никакой критики, – возразил задумчиво Ave и, качнув головой, добавил с осанкой издавшего виды опытного короля. – Вся штука в том, чтобы сочинять хорошие законы.

Король махнул рукой:

– Ничего не выйдет! Все равно никакого толку.

– Пробовали?

– Пробовал.

– Я бы на вашем месте...

– Э, на моем месте! – нервно вскричал старый король. – Я знал многих королей, которые были сносными писателями, но я не знаю ни одного писателя, который был хотя бы третьесортным, последнего разряда, королем. На моем месте... Посадил бы я вас на недельку, посмотрел бы, что из вас выйдет...

– Куда... посадил бы? – осторожно спросил обстоятельный Ave.

– На свое место!

– А! На свое место... Разве это возможно?

– Отчего же! Хотя бы для того это нужно сделать, чтобы нам, королям, поменьше завидовали... чтобы поменьше и потолковее критиковали нас, королей!

Ave скромно сказал:

– Ну, что ж... Я, пожалуй, попробую. Только должен предупредить: мне это случается делать впервые, и если я с непривычки покажусь вам немного... гм... смешным – не осуждайте меня.

– Ничего, – добродушно улыбнулся король. – Не думаю, чтобы за неделю вы наделали особенно много глупостей... Итак, хотите?

– Попробую. Кстати, у меня есть в голове один небольшой, но очень симпатичный закон. Сегодня бы его можно и обнародовать.

– С Богом! – кивнул головой король. – Пойдемте во дворец. А для меня, кстати, это будет неделкой отдыха. Какой же это закон? Не секрет?

– Сегодня, проходя по улице, я видел слепого старика... Он шел, ощупывая руками и палкой дома, и ежеминутно рисковал попасть под колеса экипажей. И никому не было до него дела... Я хотел бы издать закон, по которому в слепых прохожих должна принимать участие городская полиция. Полисмен, заметив идущего слепца, обязан взять его за руку и заботливо проводить до дому, охраняя от экипажей, ям и рытвин. Нравится вам мой закон?

– Вы добрый парень, – устало улыбнулся король. – Да поможет вам Бог. А я пойду спать.

И, уходя, загадочно добавил:

– Бедные слепцы...

Уже три дня королевствовал скромный писатель Ave. Нужно отдать ему справедливость – он не пользовался своей властью и преимуществом своего положения. Всякий другой человек на его месте засадил бы критиков и других писателей в тюрьму, а народонаселение обязал бы покупать только свои книги – и не менее одной книги в день на каждую душу, вместо утренних булок...

Ave поборол соблазн издать такой закон. Дебютировал он, как и обещал королю, «Законом о провождении полисменами слепцов и об охранении сих последних от разрушительного действия внешних сил, как-то: экипажи, лошади, ямы и проч.».

Однажды (это было на четвертый день утром) Ave стоял в своем королевском кабинете у окна и рассеянно смотрел на улицу.

Неожиданно внимание его было привлечено странным зрелищем: два полисмена тащили за шиворот прохожего, а третий пинками ноги подгонял его сзади.

С юношеским проворством выбежал Ave из кабинета, слетел с лестницы и через минуту очутился на улице.

– Куда вы его тащите? За что бьете? Что сделал этот человек? Скольких человек он убил?

– Ничего он не сделал, – ответил полисмен.

– За что же вы его и куда гоните?

– Да ведь он, ваша милость, слепой. Мы его по закону в участок и волокем.

– По за-ко-ну? Неужели есть такой закон?

– А как же! Три дня тому назад обнародован и вступил в силу.

Аве, потрясенный, схватился за голову и взвизгнул:

– Мой закон?!

Сзади какой-то солидный прохожий пробормотал проклятие и сказал:

– Ну и законы нынче издаются! О чем они только думают? Чего хотят?

– Да уж, – поддержал другой голос, – умный закончик: «Всякого замеченного на улице слепца хватать за шиворот и тащить в участок, награждая по дороге пинками и колотушками». Очень умно! Чрезвычайно добросердечно!! Изумительная заботливость!!

Как вихрь влетел Аве в свой королевский кабинет и крикнул:

– Министра сюда! Разыщите его и сейчас же пригласите в кабинет!! Я должен сам расследовать дело!

По расследовании загадочный случай с законом «Об охране слепцов от внешних сил» разъяснился.

Дело обстояло так.

В первый день своего королевствования Аве призвал министра и сказал ему:

– Нужно издать закон «О заботливом отношении полисменов к прохожим слепцам, о провожании их домой и об охране сих последних от разрушительного действия внешних сил, как-то: экипажи, лошади, ямы и проч.».

Министр поклонился и вышел. Сейчас же вызвал к себе начальника города и сказал ему:

– Объявите закон: не допускать слепцов ходить по улицам без провожатых, а если таких нет, то заменять их полисменами, на обязанности которых должна лежать доставка по месту назначения.

Выйдя от министра, начальник города пригласил к себе начальника полиции и распорядился:

– Там слепцы по городу, говорят, ходят без провожатых. Этого не допускать! Пусть ваши полисмены берут одиноких слепцов за руку и ведут куда надо.

– Слушаю-с.

Начальник полиции созвал в тот же день начальников частей и сказал им:

– Вот что, господа. Нам сообщили о новом законе, по которому всякий слепец, замеченный в шатании по улице без провожатого, забирается полицией и доставляется куда следует. Поняли?

– Так точно, господин начальник!

Начальники частей разъехались по своим местам и, созвав полицейских сержантов, сказали:

– Господа! Разъясните полисменам новый закон: «Всякого слепца, который шатается без толку по улицам, мешая экипажному и пешему движению, хватать и тащить куда следует».

– Что значит «куда следует»? – спрашивали потом сержанты друг у друга.

– Вероятно, в участок. На выsidку... Куда ж еще...

– Наверно, так.

– Ребята! – говорили сержанты, обходя полисменов. – Если вами будут замечены слепцы, бродящие по улицам, хватайте этих каналий за шиворот и волоките в участок!!

– А если они не захотят идти в участок?

– Как не захотят? Пара хороших подзатыльников, затрещина, крепкий пинок сзади – небось побегут!

Выяснив дело «об охране слепцов от внешних влияний», Аве сел за свой роскошный королевский стол и заплакал.

Чья-то рука ласково легла ему на голову.

– Ну, что? Не сказал ли я, узнав впервые о законе «охранения слепцов», – «бедные слепцы!»? Видите, во всей этой истории бедные слепцы проиграли, а я выиграл.

– Что вы выиграли? – спросил Аве, отыскивая свою шапку.

– Да как же? Одним моим критиком меньше. Прощайте, милый. Если еще вздумаете провести какую-нибудь реформу – заходите.

«Дождись!» – подумал Аве и, перепрыгивая через десять ступенек роскошной королевской лестницы, убежал.

Роковой выигрыш

Больше всего меня злит то, что какой-нибудь читатель-брюзга, прочтя нижеизложенное, сделает отталкивающую гримасу на лице и скажет противным безапелляционным тоном:

– Не может быть такого случая в жизни!

А я вам говорю, что может быть такой случай в жизни!

Читатель, конечно, способен спросить:

– А чем вы это докажете?

Чем я докажу? Чем я докажу, что такой случай возможен? О, Боже мой! Да очень просто: такой случай возможен потому, что он был в действительности.

Надеюсь, другого доказательства не потребуются?

Прямо и честно глядя в читательские глаза, я категорически утверждаю: такой случай был в действительности в августе месяце в одном из маленьких южных городков! Ну-с?

Да и что здесь такого необычного?... Устраиваются на общедоступных гуляньях в городских садах лотереи? Устраиваются. Разыгрывается в этих лотереях в виде главной приманки живая корова? Разыгрывается. Может любой человек, купивший за четвертак билет, выиграть эту корову? Может!

Ну, вот и все. Корова – это ключ к музыкальной пьесе. Понятно, что в этом ключе и должна разыграться вся пьеса, или – ни я, ни читатель – ничего не понимаем в музыке.

В городском саду, раскинувшемся над широкой рекой, было устроено, по случаю престольного праздника, «большое народное гулянье с двумя оркестрами музыки, состязаниями на ловкость (бег в мешках, бег с яйцом и пр.), а также вниманию отзывчивой публики будет предложена лотерея-аллегри с множеством грандиозных призов, среди которых – живая корова, граммофон и мельхиоровый самовар».

Гулянье имело шумный успех, и лотерея торговала вовсю.

Писец конторы крахмальной фабрики Еня Плинтусов и мечта его полуголодной убогой жизни Настя Семерых пришли в сад в самый разгар веселья. Уже пробежали мимо них несколько городских дураков, путаясь ногами в мучных мешках, завязанных выше талии, что, в общем, должно было знаменовать собой увлечение отраслью благородного спорта – «бега в мешках». Уже пронеслась мимо них партия других городских дураков, с завязанными глазами, держа на вытянутой руке ложку с сырым яйцом (другая отрасль спорта: «бег с яйцом»); уже был сожжен блестящий фейерверк; уже половина лотерейных билетов была раскуплена...

И вдруг Настя прижала локоть своего спутника к своему локтю и сказала:

– А что, Еня, не попробовать ли нам в лотерею... Вдруг да что-нибудь выиграем!

Рыцарь Еня не прекословил.

– Настя! – сказал он. – Ваше желание – форменный закон для меня!

И ринулся к лотерейному колесу.

С видом Ротшильда бросил предпоследний полтинник, вернулся и, протягивая два билета, свернутых в трубочку, предложил:

– Выбирайте. Один из них мой, другой ваш.

Настя, после долгого раздумья, выбрала один, развернула, пробормотала разочарованно: «Пустой!» – и бросила его на землю, а Еня Плинтусов, наоборот, издал радостный крик: «Выиграл!»

И тут же шепнул, глядя на Настю влюбленными глазами:

– Если зеркало или духи – дарю их вам.

Вслед за тем он обернулся к киоску и спросил:

– Барышня! Номер четырнадцать – что такое?

– Четырнадцать? Позвольте... Это корова! Вы корову выиграли.

И все стали поздравлять счастливого Еню, и почувствовал Еня тут, что действительно бывают в жизни каждого человека моменты, которые не забываются, которые светят потом долго-долго ярким, прекрасным маяком, скрашивая темный, унылый человеческий путь.

И – таково страшное действие богатства и славы – даже Настя потускнела в глазах Ени, и пришло ему в голову, что другая девушка – не чета Насте – могла бы украсить его пышную жизнь.

– Скажите, – спросил Еня, когда буря восторгов и всеобщей зависти улеглась. – Я могу сейчас забрать свою корову?

– Пожалуйста. Может быть, продать ее хотите? Мы бы ее взяли обратно за двадцать пять рублей.

Бешено засмеялся Еня.

– Так, так! Сами пишете, что «корова стоимостью свыше ста пятидесяти рублей», а сами предлагаете двадцать пять?... Нет-с, знаете... Позвольте мне мою корову, и больше никаких!

В одну руку он взял веревку, тянувшуюся от рогов коровы, другой рукой схватил Настю за локоть и, сияя и дрожа от восторга, сказал:

– Пойдемте, Настенька, домой, больше нам здесь нечего делать...

Общество задумчивой коровы немного шокировало Настю, и она заметила несмело:

– Неужели вы с ней будете так... таскаться?

– А почему же? Животное как животное; да и не на кого ее же здесь оставить!

Еня Плинтусов даже в слабой степени не обладал чувством юмора. Поэтому он ни на одну минуту не почувствовал всей нелепости вышедшей из ворот городского сада группы: Еня, Настя, корова.

Наоборот, – широкие, заманчивые перспективы богатства рисовались ему, а образ Насти все тускнел и тускнел...

Настя, нахмутив брови, пытливо взглянула на Еню, и ее нижняя губа задрожала...

– Слушайте, Еня... Значит, вы меня домой не проводите?

– Провожу. Отчего же вас не проводить?

– А... корова??

– Чем же корова нам мешает?

– И вы воображаете, что я через весь город пойду с такой погребальной процессией? Да меня подруги засмеют, мальчишки на нашей улице проходу не дадут!!

– Ну, хорошо... – после некоторого раздумья сказал Еня, – сядем на извозчика. У меня еще осталось тридцать копеек.

– А... корова?

– А корову привяжем сзади.

Настя вспыхнула.

– Я совершенно не знаю: за кого вы меня принимаете? Вы бы еще предложили мне сесть верхом на вашу корову!

– Вы думаете, это очень остроумно? – надменно спросил Еня. – Вообще, меня удивляет: у вашего отца четыре коровы, а вы одной даже боитесь, как черта.

– А вы не могли ее в саду до завтра оставить, что ли? Украли бы ее, что ли? Сокровище какое, подумаешь...

– Как угодно, – пожал плечами Еня, втайне чрезвычайно уязвленный. – Если вам моя корова не нравится...

– Значит, вы меня не провожаете?

– Куда ж я корову дену? Не в карман же спрятать!..

– Ах, так? И не надо. И одна дойду. Не смейте завтра к нам приходить.

– Пожалуйста, – расшаркался обиженный Еня. – И послезавтра к вам не приду, и вообще могу не ходить, если так...

– Благо, нашли себе подходящее общество!

И, сразив Еню этим убийственным сарказмом, бедная девушка зашагала по улице, низко опустив голову и чувствуя, что сердце ее разбито навсегда.

Еня несколько мгновений глядел вслед удаляющейся Насте.

Потом очнулся...

– Эй, ты, корова... Ну, пойдем, брат.

Пока Еня и корова шли по темной, прилегающей к саду улице, все было сносно, но едва они вышли на освещенную многолюдную Дворянскую, как Еня почувствовал некоторую неловкость. Прохожие оглядывали его с некоторым изумлением, а один мальчишка пришел в такой восторг, что дико взвизгнул и провозгласил на всю улицу:

– Коровичий сын свою маму спать ведет!

– Вот я тебе дам по морде, так будешь знать, – сурово сказал Еня.

– А ну, дай! Такой сдачи получишь, что кто тебя от меня отнимать будет?

Это была чистейшая бравада, но мальчишка ничем не рисковал, ибо Еня не мог выпустить из рук веревки, а корова передвигалась с крайней медленностью.

На половине Дворянской улицы Еня не мог больше выносить остолбенелого вида прохожих. Он придумал следующее: бросил веревку и, отвесив пинка корове, придал ей этим самым поступательное движение. Корова зашагала сама по себе, а Еня, с рассеянной миной, пошел сбоку, приняв вид обыкновенного прохожего, не имеющего с коровой ничего общего...

Когда же поступательное движение коровы ослабевало и она мирно застывала у чьих-нибудь окон, Еня снова исподтишка давал ей пинка, и корова покорно брела дальше...

Вот Енина улица. Вот и домик, в котором Еня снимал у столяра комнату... И вдруг, как молния во тьме, голову Ени осветила мысль: «А куда я сейчас дену корову?»

Сарая для нее не было. Привязать во дворе – могут украсть, тем более что калитка не запирается.

– Вот что я сделаю, – решил Еня после долгого и напряженного раздумья. – Я ее потихоньку введу в свою комнату, а завтра все это устроим. Может же она одну ночь простоять в комнате...

Потихоньку открыл дверь в сени счастливый обладатель коровы и осторожно потянул меланхолическое животное за собой:

– Эй, ты! Иди сюда, что ли... Да тиш-ше! Ч-черт! Хозяева спят, а она копытами стучит, как лошадь.

Может быть, весь мир нашел бы этот поступок Ени удивительным, вздорным и ни на что не похожим. Весь мир, кроме самого Ени да, пожалуй, коровы, потому что Еня чувствовал, что другого выхода не представлялось, а корова была совершенно равнодушна к перемене своей судьбы и к своему новому месту жительства.



Введенная в комнату, она апатично остановилась у Ениной кровати и тотчас же стала жевать угол подушки.

– Кш! Ишь ты, проклятая, – подушку грызет! Ты что... есть, может, хочешь? или пить?

Еня налил в тазик воды и подsunул его под самую морду коровы. Потом, крадучись, вышел на двор, обломал несколько веток с деревьев и, вернувшись, заботливо sunул их в тазик же...

– На, ты! Как тебя... Васька! Ешь! Тубо!

Корова sunула морду в тазик, лизнула языком ветку и вдруг, подняв голову, замычала довольно густо и громко.

– Цыц ты, проклятая! – ахнул растерявшийся Еня. – Молчи, чтоб тебя... Вот анафема!..

За спиной Ени тихо скрипнула дверь. В комнату заглянул раздетый человек, закутанный в одеяло, и, увидев все происходящее в комнате, с тихим криком ужаса отступил назад.

– Это вы, Иван Назарыч? – шепотом спросил Еня. – Входите, не бойтесь... У меня корова.

– Еня, с ума вы сошли, что ли? Откуда она у вас?

– Выиграл в лотерею. Ешь, Васька, ешь!.. Тубо!

– Да как же можно корову в комнате держать? – недовольно заметил жилец, усаживаясь на кровать. – Узнают хозяева – из квартиры выгонят.

– Так это до завтра только. Переночует, а потом сделаем что-нибудь с ней.

«М-м-му-у!» – заревела корова, будто соглашаясь с хозяином.

– А, нету на тебя угомону, проклятая!! Цыц! Дайте одеяло, Иван Назарыч, я ей голову закутаю. Постой! Ну, ты! Что я с ней сделаю – одеяло жует! У-у, черт!

Еня отбросил одеяло и хватил из всей силы кулаком корову между глаз.

«М-мму-у-у!...»

– Ей-богу, – сказал жилец, – сейчас явится хозяин и прогонит вас вместе с коровой.

– Так что же мне делать?! – простонал Еня, приходя в некоторое отчаяние. – Ну посоветуйте.

– Да что ж тут советовать... А вдруг она будет кричать целую ночь. Знаете что? Зарежьте ее.

– То есть... как это резать?

– Да очень просто. А завтра мясо можно продать мясникам.

Можно было сказать с уверенностью, что мыслительные способности гостя в лучшем случае стояли на одном уровне с мыслительными способностями хозяина.

Еня тупо поглядел на жильца и сказал после некоторого колебания:

– А что же мне за расчет?

– Ну как же! В ней мяса пудов двадцать... По пяти рублей пуд продадите – и то сто рублей. Да шкура, да то, да се... А за живую вам все равно не больше дадут.

– Серьезно? А чем же я ее зарезу? Есть столовый нож, и тот тупой. Ножницы еще есть – больше ничего.

– Что ж, если ножницы вонзить ей в глаз, чтобы дошло до мозга...

– А вдруг она... станет защищаться... Подымет крик...

– Положим, это верно. Может, отравить ее, если...

– Ну, вы тоже скажете... Сонного порошка ей вкатить бы, чтоб заснула, да откуда его сейчас возьмешь?...

«Му-у-у-у!» – заревела корова, поглядывая глупыми круглыми глазами на потолок.

За стеной послышалась возня. Кто-то рычал, ругался, отплевывался от сна. Потом послышалось шарканье босых ног, дверь в Енину комнату распахнулась, и перед смятенным Еней предстал сонный растрепанный хозяин.

Он взглянул на корову, на Еню, заскрипел зубами и, не вдаваясь ни в какие расспросы, уронил сильное и краткое:

– Вон!

– Позвольте вам объяснить, Алексей Фомич...

– Вон! Чтобы духу твоего сейчас же не было. Я покажу вам, как безобразие заводить!

– То, что я вам и говорил, – сказал жилец таким тоном, будто все устроилось, как нужно; закутался в свое одеяло и пошел спать.

Была глухая, темная летняя ночь, когда Еня очутился на улице с коровой, чемоданом и одеялом с подушкой, навьюченными на корову (первая осязательная польза, приносимая Ене этим неудачным выигрышем).

– Ну, ты, проклятая! – сказал Еня сонным голосом. – Иди, что ли! Не стоять же тут...

Тихо побрели...

Маленькие окраинные домики кончились, раскинулась пустынная степь, ограниченная с одной стороны каким-то плетеным забором.

– Тепло, в сущности, – пробормотал Еня, чувствуя, что он падает от усталости. – Посплю здесь у изгороди, а корову к руке привяжу.

И заснул Еня – это удивительное игрище замысловатой судьбы.

– Эй, господин! – раздался над ним чей-то голос.

Было яркое, солнечное утро.

Еня открыл глаза и потянулся.

– Господин! – сказал мужичонка, пошевелив его носком сапога. – Как же это возможно, чтобы руку к дереву привязывать. Это к чему ж такое?

Вздвогнув, как ужаленный вскочил Еня на ноги и издал болезненный крик: другой конец привязанной к руке веревки был наглухо прикреплен к низкорослому, корявому дереву.

Суеверный человек предположил бы, что за ночь корова чудесной силой превратилась в дерево, но Еня был просто глупо-практичным юношей.

Всклипнул и завопил:

– Украла!!

– Постойте, – сказал участковый пристав. – Что вы мне все говорите – украла да украла, корова да корова... А какая корова?

– Как какая? Обыкновенная.

– Да какой масти-то?

– Такая, знаете... коричневая. Но есть, конечно, и белые места.

– Где?

– Морда, кажется, белая. Или нет! С боку белое... На спине тоже... Хвост такой тоже... бледный. Вообще, знаете, какие обыкновенно бывают коровы.

– Нет-с! – решительно сказал пристав, отодвигая бумагу. – По таким спутанным приметам я разыскивать не могу. Мало ли коров на свете!

И побрел бедный Еня на свой крахмальный завод... Все тело ломило от неудобного ночлега, а впереди предстоял от бухгалтера выговор, так как был уже первый час дня...

И призадумался Еня над тщетой всего земного: вчера у Ени было все: корова, жилище и любимая девушка, а сегодня все потеряно: и корова, и жилище, и любимая девушка.

Странные шутки шутит над нами жизнь, а мы все – ее слепые, покорные рабы.

Грабитель

С переулка, около садовой калитки, через наш забор на меня смотрело розовое, молодое лицо – черные глаза не мигали, и усики забавно шевелились.

Я спросил:

– Чего тебе надо?

Он ухмыльнулся.

– Собственно говоря, ничего.

– Это наш сад, – деликатно намекнул я.

– Ты, значит, здешний мальчик?

– Да. А то какой же?

– Ну, как твое здоровье? Как поживаешь?

Ничем не мог так польстить мне незнакомец, как этими вопросами. Я сразу почувствовал себя взрослым, с которым ведут серьезные разговоры.

– Благодарю вас, – солидно сказал я, роя ногой песок садовой дорожки. – Поясницу что-то поламывает. К дождю, что ли!..

Это вышло шикарно. Совсем как у тетки.

– Здорово, брат! Теперь ты мне скажи вот что: у тебя, кажется, должна быть сестра?

– А ты откуда знаешь?

– Ну, как же... У всякого порядочного мальчика должна быть сестра.

– А у Мотьки Нароновича нет, – возразил я.

– Так Мотька разве порядочный мальчик? – ловко отпарировал незнакомец. – Ты гораздо лучше.

Я не остался в долгу:

– У тебя красивая шляпа.

– Ага! Ключуло!

– Что ты говоришь?

– Я говорю: можешь ты представить себе человека, который спрыгнул бы с этой высокой стены в сад?

– Ну, это, брат, невозможно.

– Так знай же, о юноша, что я берусь это сделать. Смотри-ка!

Если бы незнакомец не перенес вопроса в область чистого спорта, к которому я всегда чувствовал род болезненной страсти, я, может быть, протестовал бы против такого бесцеремонного вторжения в наш сад.

Но спорт – это святое дело.

– Гоп! – И молодой человек, вскочив на верхушку стены, как птица, спорхнул ко мне с пятиаршинной высоты.

Это было так недостижимо для меня, что я даже не завидовал.

– Ну, здравствуй, отроче. А что поделявает твоя сестра? Ее, кажется, Лизой зовут?

– Откуда ты знаешь?

– По твоим глазам вижу.

Это меня поразило. Я плотно зажмурил глаза и сказал:

– А теперь?

Эксперимент удался, потому что незнакомец, повертевшись бесплодно, сознался:

– Теперь не вижу. Раз глаза закрыты, сам, брат, понимаешь... Ты во что тут играешь, в саду-то?

– В саду-то? В домик.

– Ну? Вот то ловко! Покажи-ка мне твой домик.

Я доверчиво повел прыткого молодого человека к своему сооружению из нянькиных платков, камышовой палки и нескольких досок, но вдруг какой-то внутренний толчок остановил меня...

«О Господи, – подумал я. – А вдруг это какой-нибудь вор, который задумал ограбить мой домик, утащить все то, что было скоплено с таким трудом и лишениями: живую черепаху в коробочке, ручку от зонтика в виде собачьей головы, баночку с вареньем, камышовую палку и бумажный складной фонарик?»

– А зачем тебе? – угрюмо спросил я. – Я лучше пойду спрошу у мамы, можно ли тебе показать.

Он быстро, с некоторым испугом схватил меня за руку.

– Ну, не надо, не надо! Не уходи от меня... Лучше не показывай своего домика, только не ходи к маме.

– Почему?

– Мне без тебя будет скучно.

– Ты, значит, ко мне пришел?

– Конечно! Вот-то чудак! И ты еще сомневался... Сестра Лиза дома сейчас?

– Дома. А что?

– Ничего, ничего. Это что за стена? Ваш дом?

– Да... Вот то окно – папина кабинета.

– Пойдем-ка подальше, посидим на скамеечке.

– Да я не хочу. Что мы там будем делать?

– Я тебе что-нибудь расскажу...

– Ты загадки умеешь?

– Сколько угодно! Такие загадки, что ты ахнешь.

– Трудные?

– Да уж такие, что даже Лиза не отгадает. У нее сейчас никого нет?

– Никого. А вот отгадай ты загадку, – предложил я, ведя его за руку в укромный уголок сада. – «В одном бочонке два пива – желтое и белое». Что это такое?

– Гм! – задумчиво сказал молодой человек. – Вот так штука! Не яйцо ли это будет?

– Яйцо...

На моем лице он ясно увидел недовольство разочарования: я не привык, чтобы мои загадки так легко разгадывали.

– Ну, ничего, – успокоил меня незнакомец. – Загадай-ка мне еще загадку, авось я и не отгадаю.

– Ну вот, отгадай: «Семьдесят одежек и все без застежек».

Он наморщил лоб и погрузился в задумчивость.

– Шуба?

– Нет-с, не шуба-с!..

– Собака?

– Почему собака? – удивился я его бестолковости. – Где же это у собаки семьдесят одежек?

– Ну, если ее, – смущенно сказал молодой человек, – в семьдесят шкур зашьют.

– Для чего? – безжалостно улыбаясь, допрашивал я.

– Ну, ты, брат, не отгадал!

После этого он понес совершеннейшую чушь, которая доставила мне глубокое удовольствие.

– Велосипед? Море? Зонтик? Дождик?

– Эх ты! – снисходительно сказал я. – Это кочан капусты.

– А ведь и в самом деле! – восторженно крикнул молодой человек. – Это замечательно! И как это я раньше не догадался. А я-то думаю: море? Нет, не море... Зонтик? Нет, не похоже. Вот то продувной братец у Лизы! Кстати, она сейчас в своей комнате, да?

– В своей комнате.

– Одна?

– Одна. Ну что ж ты... Загадку-то?

– Ага! Загадку? Гм... Какую же, братец, тебе загадку? Разве эту: «Два кольца, два конца, а посередине гвоздик».

Я с сожалением оглядел моего собеседника: загадка была пошлейшая, элементарнейшая, затасканная и избитая.

Но внутренняя деликатность подсказывала мне не отгадывать ее сразу.

– Что же это такое?... – задумчиво промолвил я. – Вешалка?

– Какая ж вешалка, если посередине гвоздик, – вяло возразил он, думая о чем-то другом.

– Ну, ее же прибили к стене, чтобы держалась.

– А два конца? Где они?

– Костыли? – лукаво спросил я и вдруг крикнул с невыносимой гордостью: – Ножницы!..

– Вот черт возьми! Догадался-таки! Ну и ловкач же ты! А сестра Лиза отгадала бы эту загадку?

– Я думаю, отгадала бы. Она очень умная.

– И красивая, добавь. Кстати, у нее есть какие-нибудь знакомые?

– Есть. Эльза Либкнехт, Милочка Одинцова, Надя...

– Нет, а мужчины-то есть?

– Есть. Один тут к нам ходит.

– Зачем же он ходит?

– Он...

В задумчивости я опустил голову, и взгляд мой упал на щегольские лакированные ботинки незнакомца.

Я пришел в восхищение.

– Сколько стоят?

– Пятнадцать рублей. Зачем же он ходит, а? Что ему нужно?

– Он, кажется, замуж хочет за Лизу. Ему уже пора, он – старый. А эти банты – завязываются или так уже куплены?

– Завязываются. Ну, а Лиза хочет за него замуж?

– Согни-ка ногу... Почему они не скрипят? Значит, они не новые, – критически сказал я. – У кучера Матвея были новые, так небось скрипели. Ты бы их смазал чем-нибудь.

– Хорошо, смажу. Ты мне скажи, отроче, а Лизе хочется за него замуж?

Я вздергнул плечами.

– А то как же! Конечно, хочется.

Он взял себя за голову и откинулся на спинку скамьи.

– Ты чего?

– Голова болит.

Болезни – была единственная тема, на которую я мог говорить солидно.

– Ничего... Не с головой жить, а с добрыми людьми.

Это нянькино изречение пришлось ему, очевидно, по вкусу.

– Пожалуй, ты прав, глубокомысленный юноша. Так ты утверждаешь, что Лиза хочет за него замуж?

Я удивился:

– А как же иначе? Как же тут не хотеть! Ты разве не видал никогда свадьбы?

– А что?

– Да ведь, будь я женщиной, я бы каждый день женился: на груди белые цветы, банты, музыка играет, все кричат «ура», на столе икры стоит вот такая коробка, и никто на тебя не кричит, если ты много съел. Я, брат, бывал на этих свадьбах.

– Так ты полагаешь, – задумчиво произнес незнакомец, – что она именно поэтому хочет за него замуж?

– А то почему же!.. В церковь едут в карете, да у каждого кучера на руке платок повязан. Подумай-ка! Жду не дождусь, когда эта свадьба начнется.

– Я знал мальчиков, – небрежно сказал незнакомец, – до того ловких, что они могли до самого дома на одной ноге доскакать...

Он затронул слабейшую из моих струнок.

– Я тоже могу!

– Ну, что ты говоришь! Это неслыханно! Неужели доскачешь?

– Ей-богу! Хочешь?

– И по лестнице наверх?

– И по лестнице.

– И до комнаты Лизы?

– Там уже легко. Шагов двадцать.

– Интересно было бы мне на это посмотреть... Только вдруг ты меня надуешь?... Как я проверю? Разве вот что... Я тебе дам кусочек бумажки, а ты и доски с ним до комнаты Лизы. Отдай ей бумажку, а она пусть черкнет на ней карандашом, хорошо ли ты доскакал!

– Здорово! – восторженно крикнул я. – Вот увидишь – доскачу. Давай бумажку!

Он написал несколько слов на листке из записной книжки и передал мне.

– Ну, с Богом. Только если кого-нибудь другого встретишь, бумажки не показывай – все равно тогда не поверю.

– Учи еще! – презрительно сказал я. – Гляди-ка!

По дороге к комнате сестры, между двумя гигантскими прыжками на одной ноге, в голову мою забралась предательская мысль: что, если он нарочно придумал этот спор, чтобы отослать меня и, пользуясь случаем, обокрасть мой домик? Но я сейчас же отогнал эту мысль. Был я мал, доверчив и не думал, что люди так подлы. Они кажутся серьезными, добрыми, но чуть где запахнет камышовой тростью, нянькиным платком или сигарной коробкой – эти люди превращаются в бессовестных грабителей.

Лиза прочла записку, внимательно посмотрела на меня и сказала:

– Скажи этому господину, что я ничего писать не буду, а сама к нему выйду.

– А ты скажешь, что я доскакал на одной ноге? И, заметь, все время на левой.

– Скажу, скажу. Ну, беги, глупыш, обратно.

Когда я вернулся, незнакомец не особенно спорил насчет отсутствия письменного доказательства.

– Ну, подождем, – сказал он. – Кстати, как тебя зовут?

– Илюшей. А тебя?

– Моя фамилия, братец ты мой, Пронин.

Я ахнул.

– Ты... Пронин? Нищий?

В моей голове сидело весьма прочное представление о наружном виде нищего: под рукой костыль, на единственной ноге обвязанная тряпками галоша и за плечами грязная сумка с бесформенным куском сухого хлеба.

– Нищий? – изумился Пронин. – Какой нищий?

– Мама недавно говорила Лизе, что Пронин – нищий.

– Она это говорила? – усмехнулся Пронин. – Она это, вероятно, о ком-нибудь другом.

– Конечно! – успокоился я, поглаживая рукой его лакированный ботинок. – У тебя брат-то какой-нибудь есть, нищий?

– Брат? Вообще, брат есть.

– То-то мама и говорила: много, говорит, ихнего брата, нищих, тут ходит. У тебя много ихнего брата?...

Он не успел ответить на этот вопрос... Кусты зашевелились, и между листьями показалось бледное лицо сестры.

Пронин кивнул ей головой и сказал:

– Знавал я одного мальчишку – что это был за пролаза, даже удивительно! Он мог, например, в такой темноте, как теперь, отыскивать в сирени пятерки, да как! Штук по десяти. Теперь уж, пожалуй, и нет таких мальчиков...

– Да я могу тебе найти хоть сейчас сколько угодно. Даже двадцать!

– Двадцать?! – воскликнул этот простак, широко раскрыв глаза. – Ну, это, милый мой, что-то невероятное.

– Хочешь, найду?

– Нет! Я не могу даже поверить. Двадцать пятерок... Ну, – с сомнением покачал он головой, – пойди поищи. Посмотрим, посмотрим. А мы тут с сестрой тебя подождем...

Не прошло и часа, как я блестяще исполнил свое предприятие. Двадцать пятерок были зажаты в моем потном, грязном кулаке. Отыскав в темноте Пронина, о чем-то горячо рассуждавшего с сестрой, я, сверкая глазами, сказал:

– Ну! Не двадцать? На-ка, пересчитай!

Дурак я был, что искал ровно двадцать. Легко мог бы его надуть, потому что он даже не потрудился пересчитать мои пятерки.

– Ну и ловкач же ты, – сказал он изумленно. – Прямо-таки огонь. Такой мальчишка способен даже отыскать и притащить к стене садовую лестницу.

– Большая важность! – презрительно заметил я. – Только идти не хочется.

– Ну, не надо. Тот мальчишка, впрочем, был попрытчей тебя. Пребойкий мальчик. Он таскал лестницу, не держа ее руками, а просто зацепив перекладиной за плечи.

– Я тоже смогу, – быстро сказал я. – Хочешь?

– Нет, это невероятно! К самой стене?...

– Подумаешь – трудность!

Решительно, в деле с лестницей я поставил рекорд: тот, пронинский, мальчишка только тащил ее грудью, а я при этом, еще в виде премии, прыгал на одной ноге и гудел, как пароход.

Пронинский мальчишка был посрамлен.

– Ну, хорошо, – сказал Пронин. – Ты – удивительный мальчик. Однако мне старые люди говорили, что в сирени тройки находить труднее, чем пятерки...

О, глупец! Он даже и не подозревал, что тройки попадают в сирени гораздо чаще, чем пятерки! Я благоразумно скрыл от него это обстоятельство и сказал с деланным равнодушием:

– Конечно, труднее. А только я могу и троек достать двадцать штук. Эх, что там говорить! Тридцать штук достану!

– Нет, этот мальчик сведет меня в могилу от удивления. Ты это сделаешь, несмотря на темноту?! О, чудо!

– Хочешь? Вот увидишь!

Я нырнул в кусты, пробрался к тому месту, где росла сирень, и углубился в благородный спорт.

Двадцать шесть троек было у меня в руке, несмотря на то что прошло всего четверть часа. Мне пришло в голову, что Пронина легко поднадуть: показать двадцать шесть, а уверить его, что тридцать. Все равно этот простачок считать не будет.

Простачок... Хороший простачок! Большого негодяя я и не видел. Во-первых, когда я вернулся, он исчез вместе с сестрой. А во-вторых, когда я пришел к своему дому, я сразу раскусил все его хитрости: загадки, пятерки, тройки, похищение сестры и прочие шутки – все это было подстроено для того, чтобы отвлечь мое внимание и обокрасть мой домик... Действительно, не успел я подскатать к лестнице, как сразу увидел, что около нее уже никого не было, а домик мой, находившийся в трех шагах, был начисто ограблен: нянькин большой платок, камышовая палочка и сигарная коробочка – все исчезло. Только черепаха, исторгнутая из коробки, печально и сиротливо ползала возле разбитой банки с вареньем...

Этот человек обокрал меня еще больше, чем я думал в то время, когда разглядывал остатки домика. Через три дня пропавшая сестра явилась вместе с Прониным и, заплакав, призналась отцу и матери:

– Простите меня, но я уже вышла замуж.

– За кого?

– За Григория Петровича Пронина.

Это было подло вдвойне: они обманули меня, насмеялись надо мной, как над мальчишкой, да, кроме того, выхватили из-под самого носа музыку, карету, платки на рукавах кучеров и икру, которую можно было бы на свадьбе есть, сколько влезет, – все равно никто не обращает внимания.

Когда эта самая жгучая обида зажила, я как-то спросил у Пронина:

– Сознайся, зачем ты приходил: украсть у меня мои вещи?

– Ей-богу, не за этим, – засмеялся он.

– А зачем взял платок, палку, коробку и разбил банку с вареньем?

– Платком укутал Лизу, потому что она вышла в одном платье, в коробку она положила разные свои мелкие вещи, палку я взял на всякий случай, если в переулке кто-нибудь меня заметит, а банку с вареньем разбил нечаянно...

– Ну, ладно, – сказал я, делая рукой жест отпущения грехов. – Ну, скажи мне хоть какую-нибудь загадку.

– Загадку? Изволь, братец: «Два кольца, два конца, а посередине...»

– Говорил уже! Новую скажи...

Очевидно, этот человек проходил весь свой жизненный путь только с одной этой загадкой в запасе.

Ничего другого у него не было... Как так живут люди – не понимаю.

– Неужели больше ты ничего не знаешь?...

И вдруг – нет! Этот человек был решительно не глуп – он обвел глазами гостиную и разразился великолепной новой, очевидно, только что им придуманной загадкой:

– «Стоит корова, мычать здорова. Хватишь ее по зубам – вою не оберешься».

Это был чудеснейший экземпляр загадки, совершенно меня примиривший с хитроумным шурином.

Оказалось: рояль.

Страшный мальчик

Обращая взор свой к тихим розовым долинам моего детства, я до сих пор испытываю подавленный ужас перед Страшным Мальчиком.

Широким полем расстилается умильное детство: безмятежное купанье с десятком других мальчишек в Хрустальной бухте, шатанье по Историческому бульвару с целым ворохом наворованной сирени под мышкой, бурная радость по поводу какого-нибудь печального события, которое давало возможность пропустить учебный день, большая перемена в саду под акациями, змеившимися золотисто-зеленые пятна по растрепанной книжке «Родное слово» Ушинского, детские тетради, радовавшие взор своей снежной белизной в момент покупки и внушавшие на другой день всем благомыслящим людям отвращение своим грязным пятнистым видом, тетради, в которых по тридцати, сорока раз повторялось с достойным лучшей участи упорством: «Нитка тонка, а Ока широка» – или пропагандировалась несложная проповедь альтруизма: «Не кушай, Маша, кашу, оставь кашу Мише», переснимочные картинки на полях географии Смирнова, особый, сладкий сердцу запах непроветренного класса – запах пыли и прокисших чернил, ощущение сухого мела на пальцах после усердных занятий у черной доски, возвращение домой под ласковым весенним солнышком, по протоптанным среди густой грязи, полупросохшим, упругим тропинкам, мимо маленьких мирных домиков Ремесленной улицы и, наконец, – среди этой кроткой долины детской жизни, как некий грозный дуб, возвышается крепкий, смахивающий на железный болт кулак, венчающий худую, жилистую, подобно жгуту из проволоки, руку Страшного Мальчика.

Его христианское имя было Иван Аптекарев, уличная кличка сократила его на Ваньку Аптекаренко, а я в пугливом, кротком сердце моем окрестил его: Страшный Мальчик.

Действительно, в этом мальчике было что-то страшное: жил он в местах совершенно неисследованных – в нагорной части Цыганской Слободки; носились слухи, что у него были родители, но он, очевидно, держал их в черном теле, не считаясь с ними, запугивая их; говорил хриплым голосом, поминутно сплевывая тонкую, как нитка, слюну сквозь выбитый Хромым Возжонком (легендарная личность!) зуб; одевался же он так шикарно, что никому из нас даже в голову не могло прийти скопировать его туалет: на ногах рыжие, пыльные башмаки с чрезвычайно тупыми носками, голова венчалась фуражкой, измятой, переломленной в неподлежащем месте и с козырьком, треснувшим посредине самым гнусным образом.

Пространство между фуражкой и башмаками заполнялось совершенно выцветшей форменной блузой, которую охватывал широченный кожаный пояс, спускавшийся на два вершка ниже, чем это полагалось природой, а на ногах красовались штаны, столь вздувшиеся на коленках и затрепанные внизу, что Страшный Мальчик одним видом этих брюк мог навести панику на население.

Психология Страшного Мальчика была проста, но совершенно нам, обыкновенным мальчикам, непонятна. Когда кто-нибудь из нас собирался подраться, он долго примеривался, вычислял шансы, взвешивал и, даже все взвесив, долго колебался, как Кутузов перед Бородино. А Страшный Мальчик вступал в любую драку просто, без вздохов и приготовлений: увидев не понравившегося ему человека, или двух, или трех, он кричал, сбрасывал пояс и, замахнувшись правой рукой так далеко, что она чуть его самого не хлопала по спине, бросался в битву.

Знаменитый размах правой руки делал то, что первый противник летел на землю, вздымая облако пыли; удар головой в живот валил второго; третий получал неуловимые, но страшные удары обеими ногами. Если противников было больше, чем три, то четвертый и пятый летели от снова молниеносно закинутой назад правой руки, от методического удара головой в живот – и так далее.

Если же на него нападали пятнадцать, двадцать человек, то сваленный на землю Страшный Мальчик стоически переносил дождь ударов по мускулистому гибкому телу, стараясь только повертывать голову с тем расчетом, чтобы приметить, кто в какое место и с какой силой бьет, дабы в будущем закончить счеты со своими истязателями.

Вот что это был за человек – Аптекаренок.

Ну, не прав ли я был, назвав его в сердце своем Страшным Мальчиком?

Когда я шел из училища в предвкушении освежительного купания на «Хрусталке», или бродил с товарищем по Историческому бульвару в поисках ягод шелковицы, или просто бежал неведомо куда по неведомым делам – все время налет тайного, неосознанного ужаса теснил мое сердце: сейчас где-то бродит Аптекаренок в поисках своих жертв... Вдруг он поймает меня и избьет меня вконец – «пустит юшку», по его живописному выражению.

Причины для расправы у Страшного Мальчика всегда находились...

Встретив как-то при мне моего друга Сашку Ганнибоцера, Аптекаренок холодным жестом остановил его и спросил сквозь зубы:

– Ты чего на нашей улице задавался?

Побледнел бедный Ганнибоцер и прошептал безнадежным тоном:

– Я... не задавался.

– А кто у Снурцына шесть солдатских пуговиц отнял?

– Я не отнял их. Он их проиграл.

– А кто ему по морде дал?

– Так он же не хотел отдавать.

– Мальчиков на нашей улице нельзя бить, – заметил Аптекаренок и, по своему обыкновению, с быстротой молнии перешел к подтверждению высказанного положения: со свистом закинул руку за спину, ударил Ганнибоцера в ухо, другой рукой ткнул «под вздох», отчего Ганнибоцер переломился надвое и потерял всякое дыхание, ударом ноги сбил оглушенного, увенчанного синяком Ганнибоцера на землю и, полюбовавшись на дело рук своих, сказал прехладнокровно:

– А ты... – Это относилось ко мне, замершему при виде Страшного Мальчика, как птичка перед пастью змеи. – А ты что? Может, тоже хочешь получить?

– Нет, – пролепетал я, переводя взор с плачущего Ганнибоцера на Аптекареньку. – За что же... Я ничего.

Загорелый, жилистый, не первой свежести кулак закачался, как маятник, у самого моего глаза.

– Я до тебя давно добираюсь... Ты мне попадешь под веселую руку. Я тебе покажу, как с баштана незрелые арбузы воровать!

«Все знает проклятый мальчишка», – подумал я. И спросил, осмелев:

– А на что они тебе... Ведь это не твои.

– Ну и дурак. Вы воруете все незрелые, а какие же мне останутся? Если еще раз увижу около баштана – лучше бы тебе и на свет не родиться.

Он исчез, а я после этого несколько дней ходил по улице с чувством безоружного охотника, бредущего по тигровой тропинке и ожидающего, что вот-вот зашевелится тростник и огромное полосатое тело мягко и тяжело мелькнет в воздухе.

Страшно жить на свете маленькому человеку.

Страшнее всего было, когда Аптекаренок приходил купаться на камни в Хрустальную бухту.

Ходил он всегда один, несмотря на то что все окружающие мальчики ненавидели его и желали ему зла.

Когда он появлялся на камнях, перепрыгивая со скалы на скалу, как жилистый поджарый волчонок, все невольно притихали и принимали самый невинный вид, чтобы не вызвать каким-нибудь неосторожным жестом или словом его сурового внимания.

А он в три-четыре методических движения сбрасывал блузу, зацепив на ходу и фуражку, потом штаны, стянув заодно с ними и ботинки, и уже красовался перед нами, четко вырисовываясь смуглым, изящным телом спортсмена на фоне южного неба. Хлопал себя по груди и если был в хорошем настроении, то, оглядев взрослого мужчину, затесавшегося каким-нибудь образом в нашу детскую компанию, говорил тоном приказания:

– Братцы! А ну, покажем ему «рака».

В этот момент вся наша ненависть к нему пропадала – так хорошо проклятый Аптекаренко умел делать «рака».

Столпившиеся, темные, поросшие водорослями скалы образовывали небольшое пространство воды, глубокое, как колодец... И вот вся детвора, сгрудившись у самой высокой скалы, вдруг начинала с интересом глядеть вниз, охая и по-театральному всплескивая руками:

– Рак! Рак!

– Смотри, рак! Черт знает, какой огромный! Ну и штука же!

– Вот так рачище!.. Гляди, гляди – аршина полтора будет.

Мужичище – какой-нибудь булочник при пекарне или грузчик в гавани, – конечно, заинтересовывался таким чудом морского дна и неосторожно приближался к краю скалы, заглядывая в таинственную глубь «колодца».

А Аптекаренко, стоявший на другой, противоположной скале, вдруг отделялся от нее, взлетал аршина на два вверх, сворачивался в воздухе в плотный комок, спрятав голову в колени, обвив плотно руками ноги, и, будто повисев в воздухе полсекунды, обрушивался в самый центр «колодца».

Целый фонтан – нечто вроде смерча – взвивался кверху, и все скалы сверху донизу заливались кипящими потоками воды.

Вся штука заключалась в том, что мы, мальчишки, были голые, а мужик – одетый и после «рака» начинал напоминать вытащенного из воды утопленника.

Как не разбивался Аптекаренко в этом узком скалистом колодце, как он ухитрялся поднырнуть в какие-то подводные ворота и выплыть на широкую гладь бухты – мы совершенно недоумевали. Замечено было только, что после «рака» Аптекаренко становился добрее к нам, не бил нас и не завязывал на мокрых рубашках «сухарей», которые приходилось потом грызть зубами, дрожа голым телом от свежего морского ветерка.

Пятнадцати лет отроду мы все начали «страдать».

Это – совершенно своеобразное выражение, почти не поддающееся объяснению. Оно укоренилось среди всех мальчишек нашего города, переходящих от детства к юности, и самой частой фразой при встрече двух «фрайеров» (тоже южное аргю) было:

– Дрястуй, Сережка. За кем ты страдаешь?

– За Маней Огневой. А ты?

– А я еще ни за кем.

– Ври больше. Что же ты, дрюгу боишься сказать, что ли ча?

– Да мне Катя Капитанаки очень привлекает.

– Врешь?

– Накарай мне Господь.

– Ну, значит, ты за ней страдаешь.

Уличенный в сердечной слабости, «страдалец за Катей Капитанаки» конфузится и для сокрытия прелестного полудетского смущения загибает трехэтажное ругательство.

После этого оба друга идут пить бузу за здоровье своих избранниц.

Это было время, когда Страшный Мальчик превратился в Страшного Юношу. Фуражка его по-прежнему вся пестрела противоестественными изломами, пояс спускался чуть не на бедра (необъяснимый шик), а блуза верблюжьим горбом выбивалась сзади из-под пояса (тот же шик); пахло от Юноши табаком довольно едко.

Страшный Юноша Аптекаренок, переваливаясь, подошел ко мне на тихой вечерней улице и спросил своим тихим, полным грозного величия голосом:

– Ты чиво тут делаешь, на нашей улице?

– Гуляю... – ответил я, почтительно пожав протянутую мне в виде особого благоволения руку.

– Чиво ж ты гуляешь?

– Да так себе.

Он помолчал, подозрительно оглядывая меня.

– А ты за кем стрядаешь?

– Да ни за кем.

– Ври!

– Накарай меня Госп...

– Ври больше! Ну? Не будешь же ты здря (тоже словечко) шляться по нашей улице. За кем стрядаешь?

И тут сердце мое сладко сжалось, когда я выдал свою сладкую тайну:

– За Кирой Костюковой. Она сейчас после ужина выйдет.

– Ну, это можно.

Он помолчал. В этот теплый нежный вечер, напоенный грустным запахом акаций, тайна распирала и его мужественное сердце.

Помолчав, спросил:

– А ты знаешь, за кем я стрядаю?

– Нет, Аптекаренок, – ласково сказал я.

– Кому Аптекаренок, а тебе дяденька, – полушутливо-полусердито проворчал он. – Я, братец ты мой, стрядаю теперь за Лизой Евангопуло. А раньше я страдал (произносить «я» вместо «а» – был тоже своего рода шик) за Маруськой Королькевич. Здорово, а? Ну, брат, твое счастье. Если бы ты что-нибудь думал насчет Лизы Евангопуло, то...

Снова его уже выросший и еще более окрепший жилистый кулак закачался у моего носа.

– Видал? А так ничего, гуляй. Что ж... всякому страдать приятно.

Мудрая фраза в применении к сердечному чувству.

12 ноября 1914 года меня пригласили в лазарет прочесть несколько моих рассказов раненым, смертельно скучавшим в мирной лазаретной обстановке.

Только что я вошел в большую, уставленную кроватями палату, как сзади меня с кровати послышался голос:

– Здравствуй, фрайер. Ты чего задаешься на макароны?

Родной моему детскому уху тон прозвучал в словах этого бледного, заросшего бородой раненого. Я с недоумением поглядел на него и спросил:

– Вы это мне?

– Так-то, не узнавать старых друзей? погоди, попадешься ты на нашей улице – узнаешь, что такое Ванька Аптекаренок.

– Аптекарев?!

Страшный Мальчик лежал передо мной, слабо и ласково улыбаясь мне.

Детский страх перед ним на секунду вырос во мне и заставил и меня и его (потом, когда я ему признался в этом) рассмеяться.

– Милый Аптекаренок? Офицер?

- Да.
 - Ранен?
 - Да. – И в свою очередь: – Писатель?
 - Да.
 - Не ранен?
 - Нет.
 - То-то. А помнишь, как я при тебе Сашку Ганнибоцера вздул?
 - Еще бы. А за что ты тогда «до меня добирался»?
 - А за арбузы с баштана. Вы их воровали, и это было нехорошо.
 - Почему?
 - Потому что мне самому хотелось воровать.
 - Правильно. А страшная у тебя была рука, нечто вроде железного молотка. Воображаю, какая она теперь...
 - Да, брат, – усмехнулся он. – И вообразить не можешь.
 - А что?
 - Да вот, гляди... – И показал из-под одеяла короткий обрубок.
 - Где это тебя так?
 - Батарею брали. Их было человек пятьдесят. А нас, этого... Меньше.
- Я вспомнил, как он с опущенной головой и закинутой назад рукой слепо бросался на пятерых, и промолчал. Бедный Страшный Мальчик!
- Когда я уходил, он, пригнув мою голову к своей, поцеловал меня и шепнул на ухо:
- За кем теперь страдаешь?
- И такая жалость по ушедшем сладком детстве, по книжке «Родное слово» Ушинского, по «большой перемене» в саду под акациями, по украденным пучкам сирени, – такая жалость затопила наши души, что мы чуть не заплакали.

День делового человека

За все пять лет Ниночкиной жизни сегодня на нее обрушился, пожалуй, самый тяжелый удар: некто, именуемый Колькой, сочинил на нее преядовитый стихотворный памфлет.

День начался обычно: когда Ниночка встала, то нянька, одев ее и напоив чаем, ворчливо сказала:

– А теперь ступай на крыльцо – погляди, какова нынче погодка! Да посиди там подольше, с полчасика, – постереги, чтобы дождик не пошел. А потом приди да мне скажи. Интересно, как оно там...

Нянька врала самым хладнокровным образом. Никакая погода ей не была интересна, а просто она хотела отвязаться на полчаса от Ниночки, чтобы на свободе выпить чаю с сдобными сухариками.

Но Ниночка слишком доверчива, слишком благородна, чтобы заподозреть в этом случае подвох. Она кротко одернула на животе передничек, сказала: «Ну что ж, пойду погляжу», – и вышла на крыльцо, залитое теплым золотистым солнцем.

Неподалеку от крыльца, на ящике из-под пианино сидели три маленьких мальчика. Это были совершенно новые мальчики, которых Ниночка никогда не видела.

Заметив ее, мило усевшуюся на ступеньках крыльца, чтобы исполнить нянькино поручение – «постеречь, не пошел бы дождь», – один из трех мальчиков, пошептавшись с приятелем, слез с ящика и приблизился к Ниночке с самым ехидным видом, под личиной наружного простодушия и общительности.

– Здравствуй, девочка, – приветствовал он ее.

– Здравствуй, – робко отвечала Ниночка.

– Ты здесь и живешь?

– Здесь и живу. Папа, тетя, сестра Лиза, фрейлейн, няня, кухарка и я.

– Ого! Нечего сказать, – покривился мальчик. – А как тебя зовут?

– Меня? Ниночка.

И вдруг, вытянув все эти сведения, проклятый мальчик с бешеной быстротой завертелся на одной ножке и заорал на весь двор:

Нинка-Ниненок,
Серый поросенок,
С горки скатилась,
Грязью подавилась...

Побледнев от ужаса и обиды, с широко раскрытыми глазами и ртом, глядела Ниночка на него, так порочившего ее, а он снова, подмигнув товарищам и взявшись с ними за руки, завертелся в бешеном хороводе, выкрикивая пронзительным голосом:

Нинка-Ниненок,
Серый поросенок,
С горки скатилась,
Грязью подавилась...

Страшная тяжесть налегла на Ниночкино сердце. О Боже, Боже! За что? Кому она стала поперек дороги, что ее так унизили, так опозорили?

Солнце померкло в глазах, и весь мир окрасился в самые мрачные тона. Она – серый поросенок? Она – подавилась грязью? Где? Когда? Сердце болело, как прожженное раскаленным железом, и жить не хотелось.

Сквозь пальцы, которыми она закрыла лицо, текли обильные слезы. Что больше всего убивало Ниночку – это складность опубликованного мальчишкой памфлета. Так больно сказано, что «Ниненок» прекрасно рифмуется с «поросенком», а «скатилась» и «подавилась», как две одинаково прозвучавшие пощечины, горели на Ниночкином лице несмываемым позором.

Она встала, повернулась к оскорбителям и, горько рыдая, тихо побрела в комнаты.

– Пойдем, Колька, – сказал сочинителю памфлета один из его клеветников, – а то эта плакса пожалится еще – нам и влетит.

Войдя в переднюю и усевшись на сундук, Ниночка с непросохшим от слез лицом призадумалась. Итак, ее оскорбителя зовут Колька... О, если бы ей придумать подобные же стихи, которыми она могла бы опорочить этого Кольку, с каким бы наслаждением она бросила их ему в лицо!.. Больше часа просидела она так в темном углу передней, на сундуке, и сердечко ее кипело обидой и жаждой мести.

И вдруг бог поэзии, Аполлон, коснулся ее чела перстом своим. Неужели?... Да, конечно! Без сомнения, у нее на Кольку будут тоже стихи. И нисколько не хуже давешних.

О, первая радость и муки творчества!

Ниночка несколько раз прорепетировала себе под нос те летучие огненные строки, которые она швырнет Кольке в лицо, и кроткое личико ее озарилось неземной радостью. Теперь Колька узнает, как затрогивать ее.

Она сползла с сундука и, повеселевшая, с бодрым видом снова вышла на крыльцо.

Теплая компания мальчишек почти у самого крыльца затеяла крайне незамысловатую, но приводившую всех трех в восторг игру. Именно – каждый по очереди, приложив большой палец к указательному, так, что получалось нечто вроде кольца, плевал в это подобие кольца, держа от губ на четверть аршина. Если плевок пролетал внутри кольца, не задев пальцев, – счастливый игрок радостно улыбался.

Если же у кого-нибудь слюна попадала на пальцы, то этот неловкий молодой человек награждался оглушительным хохотом и насмешками. Впрочем, он не особенно горевал от такой неудачи, а, вытерев мокрые пальцы о край блузы, с новым азартом погружался в увлекательную игру.

Ниночка полюбовалась немного на происходившее, потом поманила пальцем своего оскорбителя и, нагнувшись с крыльца к нему, спросила с самым невинным видом:

– А тебя как зовут?

– А что? – подозрительно спросил осторожный Колька, чуя во всем этом какой-то подвох.

– Да ничего, ничего... Ты только скажи: как тебя зовут?

У нее было такое простодушное, наивное лицо, что Колька поддался на эту удочку.

– Ну, Колька, – прохрипел он.

– А-а-а... Колька...

И быстро, скороговоркой выпалила сияющая Ниночка:

Колька-Коленок,
Серый поросенок,
С горки скатился,
Подавился... грязью...

Тут же она бросилась в предусмотрительно оставленную ею открытой дверью, а вслед ей донеслось:

– Дура собачья!

Немного успокоенная, побрела она к себе в детскую. Нянька, разложив на столе какую-то матерчатую дрянь, выкраивала из нее рукав.

- Няня, дождик не идет.
- Ну и хорошо.
- Что ты делаешь?
- Не мешай мне.
- Можно посмотреть?
- Нет, нет уж, пожалуйста. Поди лучше посмотри, что делает Лиза.
- А потом что? – покорно спрашивает исполнительная Ниночка.
- А потом скажи мне.
- Хорошо...

При входе Ниночки четырнадцатилетняя Лиза поспешно прячет под стол книгу в розовой обертке, но, разглядев, кто пришел, снова вынимает книгу и недовольно говорит:

- Тебе что надо?
- Няня сказала, чтоб я посмотрела, что ты делаешь.
- Уроки учу. Не видишь, что ли?
- А можно мне около тебя посидеть?... Я тихо.

Глаза Лизы горят, да и красные щеки еще не остыли после книги в розовой обертке. Ей не до сестренки.

- Нельзя, нельзя. Ты мне будешь мешать.
- А няня говорит, что я ей тоже буду мешать.
- Ну, так вот что... Пойди посмотри, где Тузик. Что с ним?
- Да он, наверное, в столовой около стола лежит.
- Ну вот. Так ты пойди посмотри, там ли он, погладь его и дай ему хлеба.

Ни одной минуты Ниночке не приходит в голову, что от нее хотят избавиться. Просто ей дается ответственное поручение – вот и все.

- А когда он в столовой, так прийти к тебе и сказать? – серьезно спрашивает Ниночка.
- Нет. Ты тогда пойди к папе и скажи, что покормила Тузика. Вообще, посиди там у него, понимаешь?
- Хорошо...

С видом домовитой хозяйки-хлопотунки спешит Ниночка в столовую. Гладит Тузика, дает ему хлеба и потом озабоченно мчит к отцу (вторая половина поручения – сообщить о Тузике отцу).

- Папа!
- Папы в кабинете нет.
- Папа!
- Папы нет в гостиной.
- Папа!

Наконец-то... Папа сидит в комнате фрейлейн, близко наклонившись к этой последней, держа ее руку в своей руке.

При появлении Ниночки он сконфуженно откидывается назад и говорит с немного преувеличенной радостью и изумлением:

- А-а! Кого я вижу! Наша многоуважаемая дочь! Ну, как ты себя чувствуешь, свет очей моих?
- Папа, я уже покормила Тузика хлебом.
- Ага... И хорошо, брат, сделала; потому они, животные эти, без пищи тово... Ну а теперь иди себе, голубь мой сизокрылый.
- Куда, папа?

- Ну... пойдй ты вот куда... Пойди ты... гм! Пойди ты к Лизе и узнай, что она там делает.
- Да я уж только была у нее. Она уроки учит.
- Вот как... Приятно, приятно.

Он красноречиво глядит на фрейлейн, потихоньку гладит ее руку и неопределенно мямлит:

– Ну... в таком разе... пойдй ты к этой самой... пойдй ты к няньке и погляди ты... чем там занимается вышесказанная нянька...

– Она что-то шьет там.

– Ага... Да постой! Ты сколько кусков хлеба дала Тузику?

– Два кусочка.

– Эка расщедрилась! Разве такой большой пес может быть сыт двумя кусочками? Ты ему, ангел мой, еще вкати... Кусочка этак четыре. Да посмотри, кстати, не грызет ли он ножку стола.

– А если грызет, прийти и сказать тебе, да? – глядя на отца светлыми, ласковыми глазами, спрашивает Ниночка.

– Нет, брат, ты это не мне скажи, а этой, как ее... Лизе скажи. Это уже по ее департаменту. Да, если есть у этой самой Лизы этакая какая-нибудь книжка смешная с картинками, то ты ее, значит, тово... посмотри хорошенько, а потом расскажешь, что ты видела. Поняла?

– Поняла. Посмотрю и расскажу.

– Да это, брат, не сегодня. Рассказать можно и завтра. Над нами не каплет. Верно ведь?

– Хорошо. Завтра.

– Ну, путешествуй.

Ниночка путешествует. Сначала в столовую, где добросовестно засовывает Тузику в оскаленную пасть три куска хлеба, потом в комнату Лизы.

– Лиза! Тузик не грызет ножку стола.

– С чем тебя и поздравляю, – рассеянно роняет Лиза, впившись глазами в книгу. – Ну, иди себе.

– Куда идти?

– Пойди к папе. Спроси, что он делает?

– Да я уже была. Он сказал, чтобы ты мне книжку с картинками показала. Ему надо завтра рассказать.

– Ах ты Господи! Что эта за девочка! Ну, на тебе! Только сиди тихо. А то выгоню.

Покорная Ниночка опускается на скамеечку для ног, разворачивает на коленях данную сестрой иллюстрированную геометрию и долго рассматривает усечения пирамид, конусов и треугольников.

– Посмотрела, – говорит она через полчаса, облегченно вздыхая. – Теперь что?

– Теперь? Господи! Вот еще неприкаянный ребенок. Ну, пойдй в кухню, спроси у Ариши: что у нас нынче на обед? Ты видела когда-нибудь, как картошку чистят?

– Нет...

– Ну, пойдй посмотри. Потом мне расскажешь.

– Что ж... пойду.

У Ариши гости: соседская горничная и посыльный «красная шапочка».

– Ариша, скоро будешь картошку чистить? Мне надо смотреть.

– Где там скоро! И через час не буду.

– Ну, я посижу подожду.

– Нашла себе место, нечего сказать!.. Пойди лучше к няньке, скажи, чтоб она тебе чего-нибудь дала.

– А чего?

– Ну, там она знает чего.

– Чтоб сейчас дала?

– Да, да, сейчас. Иди себе, иди!

Целый день быстрые ножки Ниночки переносят ее с одного места на другое. Хлопот уйма, поручений по горло. И все самые важные, неотложные.

Бедная «неприкаянная» Ниночка!

И только к вечеру, забредя случайно в комнаты тети Веры, Ниночка находит настоящий приветливый прием.

– А-а, Ниночка! – бурно встречает ее тетя Вера. – Тебя-то мне и надо. Слушай, Ниночка... Ты меня слушаешь?

– Да, тетя. Слушаю.

– Вот что, милая... Ко мне сейчас придет Александр Семенович, ты знаешь его?

– Такой, с усами?

– Вот именно. И ты, Ниночка... (тетя странно и тяжело дышит, держась одной рукой за сердце) ты, Ниночка... сиди у меня, пока он здесь, и никуда не уходи. Слышишь? Если он будет говорить, что тебе спать пора, ты говори, что не хочешь. Слышишь?

– Хорошо. Значит, ты меня никуда не пошлешь?

– Что ты! Куда же я тебя пошлю? Наоборот, сиди тут – и больше никаких. Поняла?

– Барыня! Ниночку можно взять? Ей уже спать давно пора.

– Нет, нет, она еще посидит со мной. Правда, Александр Семеныч?

– Да пусть спать идет, чего там? – говорит этот молодой человек, хмуря брови.

– Нет, нет, я ее не пушу. Я ее так люблю...

И судорожно обнимает тетя Вера большими теплыми руками крохотное тельце девочки, как утопающий, который в последней предсмертной борьбе готов ухватиться даже за крохотную соломинку...

А когда Александр Семенович, сохраняя угрюмое выражение лица, уходит, тетя как-то вся опускается, вянет и говорит совсем другим, не прежним тоном:

– А теперь ступай спать, детка. Нечего тут расслаживаться. Вредно...

Стягивая с ноги чулочек, усталая, но довольная, Ниночка думает про себя в связи с той молитвой, которую она только что вознесла к Небу, по настоянию няньки, за покойную мать: «А что, если и я помру? Кто тогда все делать будет?»

Рождественский день у Киндяковых

Одиннадцать часов. Утро морозное, но в комнате тепло. Печь весело гудит и шумит, изредка потрескивая и выбрасывая на железный лист, прибитый к полу на этот случай, целый сноп искр. Нервный отблеск огня уютно бежит по голубым обоям.

Все четверо детей Киндяковых находятся в праздничном, сосредоточенно-торжественном настроении. Всех четверых праздник будто накрахмалил, и они тихонько сидят, боясь пошевелиться, стесненные в новых платьицах и костюмчиках, начисто вымытые и причесанные.

Восьмилетний Егорка уселся на скамеечке у раскрытой печной дверки и, не мигая, вот уже полчаса смотрит на огонь.

На душу его сошло тихое умиление: в комнате тепло, новые башмаки скрипят так, что лучше всякой музыки, и к обеду пирог с мясом, поросенок и желе.

Хорошо жить. Только бы Володька не бил и, вообще, не задевал его. Этот Володька – прямо какое-то мрачное пятно на беспечальном существовании Егорки.

Но Володьке – двенадцатилетнему ученику городского училища – не до своего кроткого меланхолического брата. Володя тоже всей душой чувствует праздник, и на душе его светло.

Он давно уже сидит у окна, стекла которого мороз украсил затейливыми узорами, и читает.

Книга – в старом, потрепанном, издавшем виды переплете, и называется она: «Дети капитана Гранта». Перелистывая страницы, углубленный в чтение Володя нет-нет да и посмотрит со стесненным сердцем: много ли осталось до конца? Так горький пьяница с сожалением рассматривает на свет остатки живительной влаги в графинчике.

Проглотив одну главу, Володя обязательно сделает маленький перерыв: потрогает новый лакированный пояс, которым подпоясана свеженькая ученическая блузка, полюбуется на свежий излом в брюках и в сотый раз решит, что нет красивее и изящнее человека на земном шаре, чем он.

А в углу, за печкой, там, где висит платье мамы, примостились самые младшие Киндяковы... Их двое: Милочка (Людмила) и Карасик (Костя). Они, как тараканы, выглядывают из своего угла и всё о чем-то шепчутся.

Оба еще со вчерашнего дня уже решили эмансипироваться и зажечь своим домком. Именно – накрыли ящичек из-под макарон носовым платком и расставили на этом столе крохотные тарелочки, на которых аккуратно разложены: два кусочка колбасы, кусочек сыру, одна сардинка и несколько карамелек. Даже две бутылочки из-под одеколона украсили этот торжественный стол: в одной – «церковное» вино, в другой – цветочек, – всё как в первых домах.

Оба сидят у своего стола, поджавши ноги, и не сводят восторженных глаз с этого произведения уюта и роскоши.

И только одна ужасная мысль грызет их сердца: что, если Володька обратит внимание на устроенный ими стол? Для этого прожорливого дикаря нет ничего святого: сразу налетит, одним движением опрокинет себе в рот колбасу, сыр, сардинку и улетит, как ураган, оставив позади себя мрак и разрушение.

– Он читает, – шепчет Карасик.

– Пойди, поцелуй ему руку... Может, тогда не тронет. Пойдешь?

– Сама пойди, – сипит Карасик. – Ты девочка. Буквы «к» Карасик не может выговорить. Это для него закрытая дверь. Он даже имя свое произносит так:

– Тарасит.

Милочка со вздохом встает и идет с видом хлопотливой хозяйки к грозному брату. Одна из его рук лежит на краю подоконника. Милочка тянется к ней, к этой закружившей от возни

со снежками, покрытой рубцами и царапинами от жестоких битв, страшной руке... Целует свежими розовыми губками.

И робко глядит на ужасного человека.

Эта умиловительная жертва смягчает Володино сердце. Он отрывается от книги:

– Ты что, красавица? Весело тебе?

– Весело.

– То-то. А ты вот такие пояса видала?

Сестра равнодушна к эффектному виду брата, но, чтобы подмазаться к нему, хвалит:

– Ах, какой пояс! Прямо прелесть!..

– То-то и оно. А ты понюхай, чем пахнет.

– Ах, как пахнет!!! Прямо – кожей.

– То-то и оно.

Милочка отходит в свой уголок и снова погружается в немое созерцание стола. Вздыхает... Обращается к Карасику:

– Поцеловала.

– Не дерется?

– Нет. А там окно такое замерзнутое.

– А Егорта стола не тронет? Пойди и ему поцелуй руту.

– Ну вот еще! Всякому целовать. Чего недоставало!

– А если он на стол наплюнет?

– Пускай, а мы вытирем.

– А если на толбасу наплюнет?

– А мы вытирем. Не бойся, я сама съем. Мне не противно.

В дверь просовывается голова матери.

– Володенька! К тебе гость пришел, товарищ.

Боже, какое волшебное изменение тона! В будние дни разговор такой: «Ты что же это, дрянь паршивая, с курицами клевал, что ли? Где в чернила убрался? Вот придет отец, скажу ему – он тебе пропишет ижицу. Сын, а хуже босаявки!»

А сегодня мамин голос – как флейта. Вот это праздник!

Пришел Коля Чебурахин.

Оба товарища чувствуют себя немного неловко в этой атмосфере праздничного благоговения и торжественности.

Странно видеть Володе, как Чебурахин шаркнул ножкой, здороваясь с матерью, и как представился созерцателю – Егорке:

– Позвольте представиться – Чебурахин. Очень приятно.

Как все это необычно! Володя привык видеть Чебурахина в другой обстановке, и манеры Чебурахина обыкновенно были иные.

Чебурахин обыкновенно ловил на улице зазевавшегося гимназистика, грубо толкал его в спину и сурово спрашивал:

– Ты чего задаешься?

– А что? – в предсмертной тоске шептал робкий «карандаш». – Я ничего.

– Вот тебе и ничего! По морде хочешь схватить?

– Я ведь вас не трогал, я вас даже не знаю.

– Говори: где я учусь? – мрачно и величественно спрашивал Чебурахин, указывая на потускневший, полуоборванный герб на фуражке.

– В городском.

– Ага! В городском! Так почему же ты, мразь несчастная, не снимаешь передо мной шапку? Учить нужно?

Ловко сбита Чебурахиным гимназическая фуражка летит в грязь. Оскорбленный, униженный гимназист горько рыдает, а Чебурахин, удовлетворенный, «как тигр (его собственное сравнение), крадется» дальше.

И вот теперь этот страшный мальчик, еще более страшный, чем Володя, вежливо здоровается с мелкотой, а когда Володина мать спрашивает его фамилию и чем занимаются его родители, яркая горячая краска заливает нежные, смуглые, как персик, чебурахинские щеки.

Взрослая женщина беседует с ним, как с равным, она приглашает садиться! Поистине это Рождество делает с людьми чудеса!

Мальчики садятся у окна и, сбитые с толку необычностью обстановки, улыбаясь, поглядывают друг на друга.

– Ну, вот хорошо, что ты пришел. Как поживаешь?

– Ничего себе, спасибо. Ты что читаешь?

– «Дети капитана Гранта». Интересная!

– Дашь почитать?

– Дам. А у тебя не порвут?

– Нет, что ты! (Пауза.) А я вчера одному мальчику по морде дал.

– Ну?

– Ей-богу. Накажи меня Бог, дал. Понимаешь, иду я по Слободке, ничего себе не думаю, а он ка-ак мне кирпичиной в ногу двинет! Я уж тут не стерпел. Кэ-эк ахну!

– После Рождества надо пойти на Слободку бить мальчишек. Верно?

– Обязательно пойдем. Я резину для рогатки купил. (Пауза.) Ты бизонье мясо ел когда-нибудь?

Володе смертельно хочется сказать: «ел». Но никак невозможно... Вся жизнь Володи прошла на глазах Чебурахина, и такое событие, как потребление в пищу бизоньего мяса, никак не могло бы пройти незамеченным в их маленьком городке.

– Нет, не ел. А наверно, вкусное. (Пауза.) Ты бы хотел быть пиратом?

– Хотел. Мне не стыдно. Все равно пропащий человек...

– Да и мне не стыдно. Что ж, пират такой же человек, как другие. Только что грабит.

– Понятно! Зато приключения. (Пауза.) А я одному мальчику тоже по зубам дал. Что это, в самом деле, такое? Наябедничал на меня тетке, что курю. (Пауза.) А австралийские дикари мне не симпатичны, знаешь! Африканские негры лучше.

– Бушмены. Они привязываются к белым.

А в углу бушмен Егорка уже, действительно, привязался к белым:

– Дай конфету, Милка, а то на стол плюну.

– Пошел, пошел! Я маме скажу.

– Дай конфету, а то плюну.

– Ну и плюй. Не дам.

Егорка исполняет свою угрозу и равнодушно отходит к печке. Милочка стирает передничком с колбасы плевок и снова аккуратно укладывает ее на тарелку. В глазах ее долготерпение и кротость.

Боже, сколько в доме враждебных элементов... Так и приходится жить – при помощи ласки, подкупа и унижения.

– Этот Егорка меня смешит, – шепчет она Карасику, чувствуя некоторое смущение.

– Он дурач. Тат будто это его тонфеты.

А к обеду приходят гости: служащий в пароходстве Чилибеев с женой и дядя Аким Семеныч. Все сидят, тихо перебрасываясь односложными словами, до тех пор пока не уселись за стол.

За столом шумно.

– Ну, кума, и пирог! – кричит Чилибеев. – Всем пирогам пирог.

– Где уж там! Я думала, что совсем не выйдет. Такие паршивые печи в этом городе, что хоть на трубе пеки.

– А поросенок! – восторженно кричит Аким, которого все немного презирают за его бедность и восторженность. – Это ж не поросенок, а черт знает что такое.

– Да и подумайте: такой поросенок, что тут и смотреть нечего, – два рубли!! С ума они походили там, на базаре! Кура – рубль, а к индюшкам приступить нет! И что оно такое будет дальше, прямо неизвестно.

В конце обеда произошел инцидент: жена Чилибеева опрокинула стакан с красным вином и залила новую блузку Володи, сидевшего подле.

Киндяков-отец стал успокаивать гостью, а Киндякова-мать ничего не сказала. Но по лицу ее было видно, что если бы это было не у нее в доме и был бы не праздник, она бы взорвалась от гнева и обиды за испорченное добро, как пороховая мина.

Как воспитанная женщина, как хозяйка, понимающая, что такое хороший тон, Киндякова-мать предпочла накинуться на Володю:

– Ты чего тут под рукой расселся! И что это за паршивые такие дети, они готовы мать в могилу заколотить. Поел, кажется, – и ступай. Расселся, как городская голова! До неба скоро вырастешь, а все дураком будешь. Только в книжки свои нос совать мастер!

И сразу потускнел в глазах Володи весь торжественный праздник, все созерцательно-восторженное настроение... Блуза украсилась зловещим темным пятном, душа оскорблена, втоптана в грязь в присутствии посторонних лиц, и главное – товарища Чебурахина, который тоже сразу потерял весь свой блеск и очарование необычности.

Хотелось встать, уйти, убежать куда-нибудь.

Встали, ушли, убежали. Оба. На Слободку.

И странная вещь: не будь темного пятна на блузке – все кончилось бы мирной прогулкой по тихим рождественским улицам.

Но теперь, как решил Володя, терять было нечего.

Действительно, сейчас же встретили трех гимназистов-второклассников.

– Ты чего задаешься? – грозно спросил Володя одного из них.

– Дай ему, дай, Володька! – шептал сбоку Чебурахин.

– Я не задаюсь, – резонно возразил гимназистик. – А вот ты сейчас макарон получишь.

– Я?

В голосе Володи сквозило непередаваемое презрение.

– Я? Кто вас от меня, несчастных, отнимать будет?

– Сам форсила несчастная!

– Эх! – крикнул Володя (все равно блуза уже не новая!), лихим движением сбросил с плеч пальто и размахнулся...

А от угла переулка уже бежали четыре гимназиста на подмогу своим...

– Что ж они, сволочи паршивые, семь человек на двух! – хрипло говорил Володя, еле шевеля распухшей, будто чужой губой и удовлетворенно поглядывая на друга затекшим глазом. – Нет, ты, брат, попробуй два на два... Верно?

– Понятно.

И остатки праздничного настроения сразу исчезли – его сменили обычные, будничные дела и заботы.

Под столом

Пасхальный рассказ

Дети, в общем, выше и чище нас. Крохотная история с еще более крохотным Димкой наглядно, я надеюсь, подтвердит это.

Какая нелегкая понесла этого мальчишку под пасхальный стол – неизвестно, но факт остается фактом: в то время как взрослые бестолково и безалаберно усаживались за обильно уставленный пасхальными яствами и питьями стол, Димка, искусно лавируя между целым лесом огромных для его роста колоннообразных ног, взял да нырнул под стол, вместе с верблюдом, половинкой деревянного яйца и замусленным краем сдобной бабы...

Разложил свои припасы, приладил сбоку угрюмого необщительного верблюда и погрузился в наблюдения...

Под столом – хорошо. Прохладно. От свежeweымытого пола, еще не зашарканного ногами, веет приятной влагой.

А ног сколько! Димка начал считать, досчитал до пяти и сбился. Нелегкая задача!

Теткины ноги сразу заметны: они в огромных мягких ковровых туфлях – от ревматизма, что ли. Димка поцарапал ногтем крошечного пальчика ковровый цветок на туфле... Нога шевельнулась, Димка испуганно отдернул палец.

Лениво погрыз край потеплевшей от руки сдобной бабы, дал подкрепиться и верблюда, и вдруг – внимание его приковали очень странные эволюции лаковой мужской туфли с белым замшевым верхом.

Нога, обутая в эту элегантную штуку, сначала стояла спокойно, потом вдруг дрогнула и поползла вперед, изредка настороженно поднимая носок, как змея, которая поднимает голову и озирается, ища, в которой стороне добыча...

Димка поглядел налево и сразу увидел, что целью этих змеиных эволюций были две маленьких ножки, очень красиво обутые в туфельки темно-небесного цвета с серебром.

Скрещенные ножки спокойно вытянулись и, ничего не подозревая, мирно постукивали каблучками. Край темной юбки поднялся, обнаружив восхитительную полную подъемистую ножку в темно-голубом чулке, а у самого круглого колена нескромно виднелся кончик пышной подвязки – черной с золотом.

Но все эти замечательные – с точки зрения другого, понимающего человека – вещи совершенно не интересовали бесхитростного Димку.

Наоборот, взгляд его был всецело прикован к таинственным и полным жути зигзагам туфли с замшевым верхом.

Это животное, скрипя и извиваясь, доползло наконец до кончика голубой ножки, клюнуло носом и испуганно отодвинулось в сторону с явным страхом: не дадут ли за это по шее?

Голубая ножка, почувствовав прикосновение, нервно, сердито затрепетала и чуть-чуть отодвинулась назад.

Развязный ботинок повел нахально носом и снова решительно пополз вперед.

Димка отнюдь не считал себя цензором нравов, но ему просто, безотносительно, нравились голубая туфелька, так прекрасно вышитая серебром; любуясь туфелькой, он не мог допустить, чтоб ее запачкали или ободрали шитье.

Поэтому Димка пустил в ход такую стратегию: подсунул, вместо голубенькой ножки, морду своего верблюда и энергично толкнул ею предприимчивый ботинок.



Надо было видеть разнузданную радость этого беспринципного щеголя! Он заерзал, заюлил около безропотного верблюда, как коршун над падалью. Он кликнул на помощь своего коллегу, спокойно дремавшего под стулом, и они оба стали так жать и тискать невозмутимое животное, что будь на его месте полненькая голубая ножка – несдобровать бы ей.

Опасаясь за целостность своего верного друга, Димка выдернул его из цепких объятий и отложил подальше, а так как верблюжья шея оказалась все-таки помятой – пришлось, в виде возмездия, плюнуть на носок предприимчивого ботинка.

Этот развратный щеголь еще поюлил немного и уполз наконец восвояси, несолоно хлебавши.

С левой стороны кто-то подsunул руку под скатерть и тайком выплеснул рюмку на пол.

Димка лег на живот, подполз к лужице и попробовал: сладковато, но и крепко достаточно. Дал попробовать верблюду. Объяснил ему на ухо:

– Уже там напились, наверху. Уж вниз выливают – понял?

Действительно, наверху все уже приходило к концу. Стулья задвигались, и под столом немного посветлело. Сначала уплыли неуклюжие ковровые ноги тетки, потом дрогнули и стали на каблучки голубые ножки. За голубыми ножками дернулись, будто соединенные невидимой веревкой, лакированные туфли, а там застучали, загомосились американские, желтые – всякие.

Димка доел совсем размокшую сдобу, попил еще из лужицы и принялся укачивать верблюда, прислушиваясь к разговорам.

– Если устали, – слышал он голос матери, – так прилягте тут на диване – никто беспокоить не будет. Мы переходим в гостиную.

– Да как-то... этого... Неловко.

– Чего там неловко – ловко.

– Ей-богу, как-то не тово...

– Чего там – не того. Дело праздничное.

– Я говорил – не надо было мешать мадеру с пивом...

– Пустое. Поспите, и ничего. Я вам сейчас с Глашей подушку пришлю.

Топот многочисленных ног затих. Потом послышалось цоканье быстрых каблучков и разговор:

– Вот вам подушка, барыня прислала.

– Ну, давай ее сюда.

– Так вот же она. Я положила.

– Нет, ты подойди сюда. К дивану.

– Зачем же к дивану?

– Я хочу христ... ее... соваться!

– Уже христосовались. Так нахристосовались, что стоять не можете.

Неописуемое удивление послышалось в убежденном голосе гостя:

– Я? Не могу стоять? Чтобы у тебя отец на том свете так не стоял, как... Ну, вот смот... три!..

– Пустите, что вы делаете?! Войдут!

Судя по тону Глаши, она была недовольна тем, что происходило. Димке пришло в голову, что самое лучшее – пугнуть хорошенько предприимчивого гостя.

Он схватил верблюда и брякнул его об пол.

– Видите?! – взвизгнула Глаша и умчалась, как вихрь.

Укладываясь, гость ворчал:

– Ай и дура же! Все женщины, по-моему, дуры. Такую дрянь всюду развели... Напудрит нос и думает, что она королева неаполитанская... Ей-богу, право!.. Взять бы хлыст хороший да так попудрить... Трясогузки!

Димке сделалось страшно: уже стало темнеть, а тут кто-то бормочет под нос непонятное... Лучше уж уйти.

Не успел он подумать этого, как гость, пошатываясь, подошел к столу и сказал, будто советуясь сам с собой:

– Нешто коньячку бутылочку спулить в карман? И коробка сардин целая. Я думаю, это дурачье и не заметит.

Что-то коснулось его ноги. Он выронил сардины, испуганно отскочил к дивану и, повалившись на него, с ужасом увидел, что из-под стола что-то ползет. Разглядев, успокоился:

– Тю! Мальчик. Откуда ты, мальчик?

– С-под стола.

– А чего ты там не видел?

– Так, сидел. Отдыхал.

И тут же, вспомнив правила общежития и праздничные традиции, Дима вежливо заметил:

– Христос воскрес.

– Еще чего! Шел бы спать лучше.

Заметив, что его приветствие не имело никакого успеха, Дима, для смягчения, пустил в ход нейтральную фразу, слышанную еще утром:

- Я с мужчинами не христосуюсь.
- Ах, как ты их этим огорчил! Сейчас пойдут и утопятся.
- Разговор явно не налаживался.
- Где были у заутрени? – уныло спросил Дима.
- А тебе какое дело?

Самое лучшее для Димы было бы уйти в детскую, но... между столовой и детской были две неосвященных комнаты, где всякая нечисть могла схватить за руку. Приходилось оставаться около этого тяжелого человека и поневоле поддерживать с ним разговор:

- А у нас пасхи сегодня хорошие.
- И нацепи их себе на нос.
- Я не боюсь пойти через комнаты, только там темно.
- А я тоже вот одному мальчишке взял да и голову отрезал.
- Он был плохой? – холодея от ужаса, спросил Димка.
- Такая же дрянь, как и ты, – прошипел гость, с вождением оглядывая облюбованную

на столе бутылку.

Где-то вдали послышался голос мамы.

– Да... такой же был, как и ты... Хорошенький такой, прямо дуся, такая, право, малая козявочка...

Голос мамы удалился и затих.

– Такая козявка, что я бы ее каблуком – хрясь!.. В лепешку дрянь такую. Пошел вон! Иди! Или тут из тебя и дух вон!

Дима проглотил слезы и опять кротко спросил, озираясь на темную дверь:

- А у вас пасхи хорошенькие?
- Чихать мне на пасхи, – я мальчишек ем, таких, как ты. Дай-ка свою лапу, я отгрызу...
- И вдруг – голос мамы, совсем близко:
- А куда это мамин сын задевался?
- Мама!! – взвизгнул Димка и зарылся в шуршащую юбку.
- А мы тут с вашим сынком разговорились. Очаровательный мальчик! Такой бойкенький.
- Он вам не мешал спать? Разрешите, я только уберу все со стола, а там спите сколько

хотите.

- Да зачем же убирать?...
- А к вечеру опять накрою.

Гость уныло опустился на диван и вздохнул, шепнув самому себе под нос:

- Будь ты проклят, анафемский мальчишка! Из-под самого носа увел бутылку.

Три желудя

Нет ничего бескорыстнее детской дружбы... Если проследить начало ее, ее истоки, то в большинстве случаев наткнешься на самую внешнюю, до смешного пустую причину ее возникновения: или родители ваши были «знакомы домами» и таскали вас, маленьких, друг к другу в гости, или нежная дружба между двумя крохотными человечками возникла просто потому, что жили они на одной улице или учились оба в одной школе, сидели на одной скамейке – и первый же разделенный братски пополам и съеденный кусок колбасы с хлебом посеял в юных сердцах семена самой нежнейшей дружбы.

Фундаментом нашей дружбы – Мотька, Шаша и я – послужили все три обстоятельства: мы жили на одной улице, родители наши были «знакомы домами» (или, как говорят на юге, – «знакомы домамы»); и все трое вкусили горькие корни учения в начальной школе Марьи Антоновны, сидя рядом на длинной скамейке, как желуды на одной дубовой ветке.

У философов и у детей есть одна благородная черта: они не придают значения никаким различиям между людьми – ни социальным, ни умственным, ни внешним. У моего отца была галантерейная лавка (аристократия), Шашин отец работал в порту (плебс, разночинство), а Мотькина мать просто существовала на проценты с грошового капитала (рантье, буржуазия). Умственно Шаша стоял гораздо выше нас с Мотькой, а физически Мотька почитался среди нас – веснушчатых и худосочных – красавцем. Ничему этому мы не придавали значения... Братски воровали незрелые арбузы на баштанах, братски их пожирали и братски же катались потом по земле от нестерпимой желудочной боли.

Купались втроем, избивали мальчишек с соседней улицы втроем, и нас били тоже всех трех – единосушно и нераздельно.

Если в одном из трех наших семейств пеклись пироги – ели все трое, потому что каждый из нас почитал святой обязанностью, с опасностью для собственного фасада и тыла, воровать горячие пироги для всей компании.

У Шашина отца – рыжебородого пьяницы – была прескверная манера лупить своего отпрыска, где бы он его ни настигал; так как около него всегда маячили и мы, то этот прямой линейный демократ бил и нас на совершенно равных основаниях.

Нам и в голову не приходило роптать на это, и отводили мы душу только тогда, когда Шашин отец брел обедать, проходя под железнодорожным мостом, а мы трое стояли на мосту и, свесив головы вниз, заунывно тянули:

Рыжий-красный —
Человек опасный...
Я на солнышке лежал...
Кверху бороду держал...

– Сволочи! – грозил снизу кулаком Шашин отец.

– А ну иди сюда, иди, – грозно говорил Мотька. – Сколько вас нужно на одну руку?

И если рыжий гигант взбирался по левой стороне насыпи, мы, как воробьи, вспархивали и мчались на правую сторону – и наоборот. Что там говорить – дело было беспроектное.

Так счастливо и безмятежно жили мы, росли и развивались до шестнадцати лет.

А в шестнадцать лет, дружно взявшись за руки, подошли мы к краю воронки, называемой жизнью, опасливо заглянули туда, как щепки попали в водоворот, и водоворот закружил нас.

Шаша поступил наборщиком в типографию «Электрическое усердие», Мотю мать отправила в Харьков в какую-то хлебную контору, а я остался непристроенным, хотя отец и мечтал «определить меня на умственные занятия», – что это за штука, я и до сих пор не знаю. При-

знаться, от этого сильно пахло писцом в мещанской управе, но, к моему счастью, не оказывалось вакансии в означенном мрачном и скучном учреждении...

С Шашей мы встречались ежедневно, а где был Мотыка и что с ним – об этом ходили только туманные слухи, сущность которых сводилась к тому, что он «удачно определился на занятия» и что сделался он таким франтом, что не подступись.

Мотыка постепенно сделался объектом нашей товарищеской гордости и лишенных зависти мечтаний возвыситься со временем до него, Мотыки.

И вдруг получилось сведение, что Мотыка должен прибыть в начале апреля из Харькова «в отпуск с сохранением содержания». На последнее усиленно напирала Мотыкина мать, и в этом сохранении видела бедная женщина самый пышный лавр в победном венке завоевателя мира Мотыки.

В этот день не успели закрыть «Электрическое усердие», как ко мне ворвался Шаша и, сверкая глазами, светясь от восторга, как свечка, сообщил, что уже видели Мотыку едущим с вокзала и что на голове у него настоящий цилиндр!..

– Такой, говорят, франт, – горделиво закончил Шаша, – такой франт, что пусти-вырвусь.

Эта неопределенная характеристика франтовства разожгла меня так, что я бросил лавку на приказчика, схватил фуражку – и мы помчались к дому блестящего друга нашего.

Мать его встретила нас несколько важно, даже с примесью надменности, но мы впопыхах не заметили этого и, тяжело дыша, первым долгом потребовали Мотю... Ответ был самый аристократический:

– Мотя не принимает.

– Как не принимает? – удивились мы. – Чего не принимает?

– Вас принять не может. Он сейчас очень устал. Он сообщит вам, когда сможет принять.

Всякой шикарности, всякой респектабельности должны быть границы. Это уже переходило даже те широчайшие границы, которые мы себе начертили.

– Может быть, он нездоров?... – попытался смягчить удар деликатный Шаша.

– Здоров-то он здоров... Только у него, он говорит, нервы не в порядке... У них в конторе перед праздниками было много работы... Ведь он теперь уже помощник старшего конторщика. Очень на хорошей ноге.

Нога, может быть, была и подлинно хороша, но нас она, признаться, совсем придавила: «нервы, не принимает»...

Возвращались мы, конечно, молча. О шикарном друге, впредь до выяснения, не хотелось говорить. И чувствовали мы себя такими забитыми, такими униженно-жалкими, провинциальными, что хотелось и расплакаться и умереть или, в крайнем случае, найти на улице сто тысяч, которые дали бы и нам шикарную возможность носить цилиндр и «не принимать» – совсем как в романах.

– Ты куда? – спросил Шаша.

– В лавку. Скоро записать надо. (Боже, какая проза!)

– А ты?

– А я домой... Выпью чаю, поиграю на мандолине и завалюсь спать.

Проза не меньшая! Хе-хе.

На другое утро – было солнечное воскресенье – Мотыкина мать занесла мне записку: «Будьте с Ша-шей в городском саду к 12 часам. Нам надо немного объясниться и пересмотреть наши отношения. Уважаемый вами Матвей Смелков».

Я надел новый пиджак, вышитую крестиками белую рубашку, зашел за Шашей – и побрели мы со стесненными сердцами на это дружеское свидание, которого мы так жаждали и которого так инстинктивно, панически боялись.

Пришли, конечно, первые. Долго сидели с опущенными головами, руки в карманах. Даже в голову не пришло обидеться, что великолепный друг наш заставляет ждать так долго.

Ах! Он был, действительно, великолепен... На нас надвигалось что-то сверкающее, бряцающее многочисленными брелоками и скрипящее лаком желтых ботинок с перламутровыми пуговицами.

Пришелец из неведомого мира графов, золотой молодежи, карет и дворцов – он был одет в коричневый жакет, белый жилет, какие-то сиреневые брючки, а голова увенчивалась сверкающим на солнце цилиндром, который если и был мал, то размеры его уравнивались огромным галстуком с таким же огромным бриллиантом...

Палка с лошадиной головой обременяла правую аристократическую руку. Левая рука была обтянута перчаткой цвета освежеванного быка. Другая перчатка высывалась из внешнего кармана жакета так, будто грозила нам своим вялым указательным пальцем: «Вот я вас!.. Отнеситесь только без должного уважения к моему носителю».

Когда Мотя приблизился к нам развинченной походкой пресыщенного денди, добродушный Шаша вскочил и, не могши сдержать порыва, простер руки к сиятельному другу:

– Мотыка! Вот, брат, здорово!..

– Здравствуйте, здравствуйте, господа, – солидно кивнул головой Мотыка и, пожав наши руки, опустился на скамейку...

Мы оба стояли.

– Очень рад видеть вас... Родители здоровы? Ну, слава Богу, приятно, я очень рад.

– Послушай, Мотыка... – начал я с робким восторгом в глазах.

– Прежде всего, дорогие друзья, – внушительно и веско сказал Мотыка, – мы уже взрослые, и поэтому «Мотыку» я считаю определенным «кель выражансом»... Хе-хе... Не правда ли? Я уже теперь Матвей Семеныч – так меня и на службе зовут, а сам бухгалтер за ручку здоровается. Жизнь солидная, оборот предприятия два миллиона. Отделение есть даже в Коканде... Вообще, мне бы хотелось пересмотреть в корне наши отношения.

– Пожалуйста, пожалуйста, – пробормотал Шаша. Стоял он, согнувшись, будто свалившимся невидимым бревном ему переломило спину...

Перед тем как положить голову на плаху, я малодушно попытался отодвинуть этот момент.

– Теперь опять стали носить цилиндры? – спросил я с видом человека, которого научные занятия изредка отвлекают от капризов изменчивой моды.

– Да, носят, – снисходительно ответил Матвей Семеныч. – Двенадцать рублей.

– Славные брелочки. Подарки?

– Это еще не все. Часть дома. Все на кольцо не помещаются. Часы на камнях, анкер, завод без ключа. Вообще, в большом городе жизнь – хлопотливая вещь. Воротнички «Монополь» только на три дня хватают, маникюр, пикники разные.

Я чувствовал, что Матвею Семенычу тоже не по себе...

Но наконец он решил. Тряхнул головой так, что цилиндр вспрыгнул на макушку, и начал:

– Вот что, господа... Мы с вами уже не маленькие, и вообще, детство – это одно, а когда молодые люди, так совсем другое. Другой, например, до какого-нибудь там высшего общества, до интеллигенции дошел, а другие есть из низших классов, и если бы вы, скажем, увидели в одной карете графа Кочубея рядом с нашей Миронихой, которая, помните, на углу маковники продавала, так вы бы первые смеялись до безумия. Я, конечно, не Кочубей, но у меня есть известное положение, ну, конечно, и у вас есть известное положение, но не такое, а что мы были маленькими вместе, так это мало ли что... Вы сами понимаете, что мы уже друг другу не пара... и... тут, конечно, обижаться нечего – один достиг, другой не достиг... Гм!.. Но, впрочем, если хотите, мы будем изредка встречаться около железнодорожной будки, когда я

буду делать прогулку, – все равно там публики нет, и мы будем как свои. Но, конечно, без особенной фамильярности – я этого не люблю. Я, конечно, вхожу в ваше положение – вы меня любите, вам даже, может быть, обидно, и поверьте... Я со своей стороны... если могу быть чем-нибудь полезен... Гм! Душевно рад.

В этом месте Матвей Семеныч взглянул на свои часы нового золота и заторопился:

– О-ля-ля! Как я заболтался... Семья помещика Гузикова ждет меня на пикник, и если я запоздаю, это будет нонсенс. Желаю здравствовать! Желаю здравствовать! Привет родителям!..

И он ушел, сверкающий и даже немного гнущийся под бременем респектабельности, усталый от повседневного вихря светской жизни.

В этот день мы с Шашей, заброшенные, будничные, лежа на молодой травке железнодорожной насыпи, в первый раз пили водку и в последний раз плакали.

Водку мы пьем и теперь, но уже больше не плачем. Это были последние слезы детства. Теперь – засуха.

И чего мы плакали? Что хоронили? Мотыка был напыщенный дурак, жалкий третьестепенный писец в конторе, одетый, как попугай, в жакет с чужого плеча; в крохотном цилиндре на макушке, в сиреневых брюках, обвешанный медными брелоками, – он теперь кажется мне смехотворным и ничтожным, как червяк без сердца и мозга, – почему же мы тогда так убивались, потеряв Мотыку?

А ведь – вспомнишь – как мы были одинаковы, – как три желудя на дубовой ветке, – когда сидели на одной скамейке у Марьи Антоновны...

Увы! Желуди-то одинаковы, но когда вырастут из них молодые дубки – из одного дубка делают кафедру для ученого, другой идет на рамку для портрета любимой девушки, а из третьего дубка смастерят такую виселицу, что любо-дорого...

Душистая гвоздика

Иду по грязной, слякотной, покрытой разным сором и дрянью улице, иду злой, бешеный, как цепная собака. Сумасшедший петербургский ветер срывает шляпу, приходится придерживать ее рукой. Рука затекает и стынет от ветра; я делаюсь еще злее! За воротник попадают тучи мелких гнилых капель дождя, чтоб их черт побрал!

Ноги тонут в лужах, образовавшихся в выбоинах дряхлого тротуара, а ботинки тонкие, грязь просачивается внутрь ботинка... так-с! Вот вам уже и насморк.

Мимо мелькают прохожие – звери! Они норовят задеть плечом меня, я – их.

Я ловлю взгляды исподлобья, которые ясно говорят:

– Эх, приложить бы тебя затылком в грязь!

Что ни мужчина встречный, то Малюта Скуратов, что ни женщина, промелькнувшая мимо, – Марианна Скублинская.

А меня они, наверное, считают сыном убийцы президента Карно. Ясно вижу.

Все скудные краски смешались на нищенски бедной петроградской палитре в одно грязное пятно, даже яркие тона вывесок погасли, слились с мокрыми ржавыми стенами сырых угрюмых домов.

А тротуар! Боже ты мой! Нога скользит среди мокрых грязных бумажек, окурков, огрызков яблок и раздавленных папиросных коробок.

И вдруг... сердце мое замирает!

Как нарочно: посреди грязного, зловонного тротуара ярким трехкрасочным пятном сверкнули три оброненные кем-то гвоздики, три девственно-чистых цветка: темно-красный, снежно-белый и желтый. Кудрявые пышные головки совсем не запятнаны грязью, все три цветка счастливо упали верхней частью стеблей на широкую папиросную коробку, брошенную прохожим курильщиком.

О, будь благословен тот, кто уронил эти цветы, – он сделал меня счастливым.

Ветер уже не так жесток, дождь потеплел, грязь... ну что ж, грязь когда-нибудь высохнет; и в сердце рождается робкая надежда: ведь увижу я еще голубое жаркое небо, услышу птичье щебетанье, и ласковый майский ветерок донесет до меня сладкий аромат степных трав.

Три кудрявых гвоздики!

Надо мне признаться, что из всех цветов я люблю больше всего гвоздику; а из всех чело-
веков милей всего моему сердцу дети.

Может быть, именно поэтому мои мысли переехали с гвоздики на детей, и на одну минуту я отождествил эти три кудрявых головки: темно-красную, снежно-белую и желтую – с тремя иными головками. Может быть, все может быть.

Сию я сейчас за письменным столом, и что же я делаю? Большой взрослый сентиментальный дурак! Поставил в хрустальный бокал три найденные на улице гвоздики, смотрю на них и задумчиво, рассеянно улыбаюсь.

Сейчас только поймал себя на этом.

Вспоминаются мне три знакомых девочки... Читатель, наклонись ко мне поближе, я тебе на ухо расскажу об этих маленьких девочках... Громко нельзя, стыдно. Ведь мы с тобой уже большие, и неподходящее дело громко говорить нам с тобой о пустяках.

А шепотом, на ухо – можно.

Знавал я одну крохотную девочку Ленку.

Однажды, когда мы, большие жестоковейные люди, сидели за обеденным столом, – мама чем-то больно обидела девочку.

Девочка промолчала, но опустила голову, опустила ресницы и, пошатываясь от горя, вышла из-за стола.

– Посмотрим, – шепнул я матери, – что она будет делать?

Горемычная Ленка решилась, оказывается, на огромный шаг: она вздумала уйти из родительского дома.

Пошла в свою комнатенку и, сопя, принялась за сборы: разостлала на кровати свой темный байковый платок, положила в него две рубашки, панталончики, обломок шоколада, расписной переплет, оторванный от какой-то книжки, и медное колечко с бутылочным изумрудом.

Все это аккуратно связала в узел, вздохнула тяжело и с горестно опущенной головой вышла из дому.

Она уже благополучно добралась до калитки и даже вышла за калитку, но тут ее ожидало самое страшное, самое непреодолимое препятствие: в десяти шагах от ворот лежала большая темная собака.

У девочки достало присутствия духа и самолюбия, чтобы не закричать. Она только оперлась плечом о скамейку, стоявшую у ворот, и принялась равнодушно глядеть совсем в другую сторону с таким видом, будто бы ей нет дела ни до одной собаки в мире, а вышла она за ворота просто подышать свежим воздухом.

Долго так стояла она, крохотная, с великой обидой в сердце, не знающая – что предпринять...

Я высунул голову из-за забора и участливо спросил:

– Ты чего тут стоишь, Леночка?

– Так себе, стою.

– Ты, может быть, собаки боишься; не бойся, она не кусается. Иди, куда хотела.

– Я еще сейчас не пойду, – опустив голову, прошептала девочка. – Я еще постою.

– Что же, ты думаешь еще долго тут стоять?

– Я вот еще подожду.

– Да чего ж ждать-то?

– Вот вырасту немножко, тогда уж не буду бояться собачки, тогда уж пойду...

Из-за забора выглянула и мать.

– Это вы куда собрались, Елена Николаевна?

Ленка дернула плечом и отвернулась.

– Недалеко ж ты ушла, – съязвила мать.

Ленка подняла на нее огромные глаза, наполненные целым озером невылившихся слез, и серьезно сказала:

– Ты не думай, что я тебя простила. Я еще подожду, а потом пойду.

– Чего ж ты будешь ждать?

– Когда мне будет четырнадцать лет.

Насколько я помню, в тот момент ей было всего 6 лет. Восьми лет ожидания у калитки она не выдержала. Ее хватило на меньшее – всего на 8 минут.

Но Боже мой! Разве знаем мы, что пережила она в эти 8 минут?!

Другая девочка отличалась тем, что превыше всего ставила авторитет старших.

Что ни делалось старшими, в ее глазах все было свято.

Однажды ее брат, весьма рассеянный юноша, сидя в кресле, погрузился в чтение какой-то интересной книги так, что забыл все на свете. Курил одну папиросу за другой, бросал окурки куда попало и, лихорадочно разрезая книгу ладонью руки, пребывал всецело во власти колдовских очарований автора.

Моя пятилетняя приятельница долго бродила вокруг да около брата, испытующе поглядывая на него, и все собиралась о чем-то спросить, и все не решалась.

Наконец собралась с духом. Начала робко, выставив голову из складок плюшевой ска-
терти, куда она в силу природной деликатности спряталась:

– Данила, а Данила?...

– Отстань, не мешай, – рассеянно пробормотал Данила, пожирая глазами книгу.

И опять томительное молчание... И опять деликатный ребенок робко закружился вокруг
кресла брата.

– Чего ты тут вертишься? Уходи.

Девочка кротко вздохнула, подошла бочком к брату и опять начала:

– Данила, а Данила?

– Ну, что тебе! Ну, говори!!

– Данила, а Данила... Это так надо, чтобы кресло горело?

Умилительное дитя! Сколько уважения к авторитету взрослых должно быть в голове этой
крошки, чтобы она, видя горящую паклю в кресле, подожженном рассеянным братом, все еще
сомневалась: а вдруг это нужно брату из каких-нибудь высших соображений?...

О третьей девочке мне рассказывала умиленная нянька:

– До чего это заковыристый ребенок, и представить себе невозможно... Укладываю я ее
с братом спать, а допрежь того поставила на молитву: «Молитесь, мол, ребятенки!» И что ж вы
думаете? Братишка молится, а она, Любочка, значит, стоит и ждет чего-то. «А ты, – говорю, –
что ж не молишься, чего ждешь?» – «А как же, – говорит, – я буду молиться, когда Боря уже
молится? Ведь Бог сейчас его слушает... Не могу же я тоже лезть, когда Бог сейчас Борей
занят!»

Милая благоуханная гвоздика!

Моя была бы воля, я бы только детей и признавал за людей.

Как человек перешагнул за детский возраст, так ему камень на шею да в воду.

Потому взрослый человек почти сплошь – мерзавец...

Кулич

– А что, сынок, – спросил меня отец, заложив руки в карманы и покачиваясь на своих длинных ногах. – Не хотел бы ты рубль заработать?

Это было такое замечательное предложение, что у меня дух захватило.

– Рубль? Верно? А за что?

– Пойди сегодня ночью в церковь, посвети кулич.

Я сразу осел, обмяк и нахмурился.

– Тоже вы скажете: свети кулич! Разве я могу? Я маленький.

– Да ведь не сам же ты, дурной, будешь святить его! Священник освятит. А ты только снеси и постой около него!

– Не могу, – подумав, сказал я.

– Новость! Почему не можешь?

– Мальчики будут меня бить.

– Подумаешь, какая казанская сирота выискалась, – презрительно скривился отец. – «Мальчики будут его бить». Небось сам их лупцуешь, где только ни попадутся.

Хотя отец был большой умный человек, но в этом деле он ничего не понимал...

Вся суть в том, что существовали два разряда мальчиков: одни меньше и слабосильнее меня, и этих бил я. Другие больше и здоровее меня – эти отделывали мою физиономию на обе корки при каждой встрече.

Как во всякой борьбе за существование – сильные пожирали слабых. Иногда я мирился с некоторыми сильными мальчиками, но другие сильные мальчики вымещали на мне эту дружбу, потому что враждовали между собой.

Часто приятели передавали мне грозное предупреждение.

– Вчера я встретил Степку Пангалова, он просил передать, что даст тебе по морде.

– За что? – ужасался я. – Ведь я его не трогал?

– Ты вчера гулял на Приморском бульваре с Косым Захаркой?

– Ну, гулял! Так что ж?

– А Косой Захарка на той неделе два раза бил Пангалова.

– За что?

– За то, что Пангалов сказал, что он берет его на одну руку.

В конце концов от всей этой вереницы хитросплетений и борьбы самолюбий страдал я один.

Гулял я с Косым Захаркой – меня бил Пангалов, заключал перемирие с Пангаловым и отправлялся с ним гулять – меня бил Косой Захарка.

Из этого можно вывести заключение, что дружба моя котирировалась на мальчишеском рынке очень высоко, – если из-за меня происходили драки. Только странно было то, что били главным образом меня.

Однако если я не мог справиться с Пангаловым и Захаркой, то мальчишки помельче их должны были испытывать всю тяжесть моего дурного настроения.

И когда по нашей улице пробирался какой-нибудь Сема Фишман, беззаботно насвистывая популярную в нашем городе песенку: «На слободке есть ворожка, Барабанщика жена...», я, как из земли, вырастал и, став к Семе вполоборота, задиристо предлагал:

– Хочешь по морде?

Отрицательный ответ никогда не смущал меня. Сема получал свою порцию и в слезах убегал, а я бодро шагал по своей Ремесленной улице, выискивая новую жертву, пока какой-нибудь Аптекаренко с Цыганской слободки не ловил меня и не бил – по всякой причине: или

за то, что я гулял с Косым Захаркой, или за то, что я с ним не гулял (в зависимости от личных отношений между Аптекаренком и Косым Захаркой).

К отцовскому предложению я отнесся так кисло именно потому, что вечер Страстной субботы стягивает со всех улиц и переулков уйму мальчиков к оградкам церквей нашего города. И хотя я найду там многих мальчиков, которые хватят от меня по морде, но зато во тьме ночной бродят и другие мальчишки, которые, в свою очередь, не прочь припаять блямбу (местное аргю!) мне.

А к этому времени как раз у меня испортились отношения почти со всеми: с Кирой Алексомати, с Григулевицем, с Павкой Макопуло и с Рафкой Кефели.

– Так идешь или нет? – переспросил отец. – Я знаю, конечно, что тебе хотелось бы шататься по всему городу вместо стояния около кулича, но ведь за то – рубль! Поразмысли.

Я это как раз и делал: размышлял.

Куда мне пойти? К Владимирскому собору? Там будет Павка со своей компанией... Ради праздничка избыют, как еще никогда не били... В Петропавловскую? Там будет Ваня Сазончик, которому я только третьего дня дал по морде на Ремесленной канаве. В Морскую церковь – там слишком фешенебельно. Остается Греческая церковь... Туда я и думал пойти, но без всякого кулича и яиц. Во-первых, там свои – Степка Пангалов с компанией: можно носиться по всей ограде, отправляться на базар в экспедицию за бочками, ящиками и лестницами, которые тут же, в ограде, торжественно сжигались греческими патриотами... Во-вторых, в Греческой церкви будет Андриенко, которому надлежит получить свою порцию за то, что наговорил матери, будто я воровал помидоры с воза... Перспективы в Греческой церкви чудесные, а узел из кулича, полудесятка яиц и кольца малороссийской колбасы должен был связать меня по рукам и ногам...

Можно было бы поручить кому-нибудь из знакомых постоять около кулича, да какой же дурак согласится в такую чудесную ночь?

– Ну что, решил? – переспросил отец.

«А надую-ка я старика», – подумал я.

– Давайте рубль и пасху вашу несчастную.

За последний эпитет я получил по губам, но в веселой суматохе укладывания в салфетку кулича и яиц это прошло совершенно незамеченным.

Да и не больно было.

Так, немного обидно.

По скрипучему деревянному крыльцу я спустился с узлом в руке во двор, на секунду нырнул под это крыльцо в отверстие, образовавшееся из двух утащенных кем-то досок, вылез обратно с пустыми руками и, как стрела, помчался по темным теплым улицам, сплошь затопленным радостным звоном.

В ограде Греческой церкви меня встретили ревом восторга. Я поздоровался со всей компанией и тут же узнал, что мой враг Андриенко уже прибыл.

Немного поспорили о том, что раньше сделать: сначала «насыпать» Андриенке, а потом идти воровать ящики – или наоборот?

Решили: наворовать ящиков, потом поколотить Андриенку, а потом отправиться опять воровать ящики.

Так и сделали.

Поколоченный мною Андриенко давал клятву в вечной ко мне ненависти, а костер, пожирая нашу добычу, поднимал красные дымные языки почти до самого неба... Веселье разгоралось, и дикий рев одобрения встретил Христа Попандопуло, который явился откуда-то с целой деревянной лестницей на голове.

– Я себе така думаю, – весело кричал он, – сто стоит теперя одна дома, а у нему нету лестницы, что-ба попадти на верхняя этажа.

– Да неужели ты домовую лестницу унес?

– Мне сто такая: домовая не домовая – лис бы горела!

Все весело смеялись, и веселее всех смеялся тот взрослый простак, который, как оказалось потом, вернувшись к себе домой на Четвертую Продольную, не мог попасть во второй этаж, где его с нетерпением ждали жена и дети.

Все это было очень весело, но, когда я, после окончания церемонии, возвращался домой с пустыми руками, сердце мое защемило: весь город будет разговляться свячеными куличами и яйцами, и только наша семья, как басурмане, будет есть простой, несвятой хлеб.

Правда, рассуждал я, я, может быть, в Бога не верую, но вдруг все-таки Бог есть и Он припомнит мне все мои гнусности: Андриенку бил в такую святую ночь, кулича не освятил да еще орал на базаре во все горло не совсем приличные татарские песни, чему уж не было буквально никакого прощения.

Сердце щемило, душа болела, и с каждым шагом к дому эта боль все увеличивалась.

А когда я подошел к отверстию под крыльцом и из этого отверстия выскочила серая собака, что-то на ходу дожевывая, я совсем пал духом и чуть не заплакал.

Вынул свой раздерганный собакой узел, осмотрел: яйца были целы, но зато кусок колбасы был съеден и кулич с одного бока изглодан почти до самой середины.

– Христос воскресе, – сказал я, заискивающе подлезая с поцелуем к щетинистым усам отца.

– Воистину!.. Что это у тебя с куличом?

– Да я по дороге... Есть захотелось – отщипнул. И колбасы... тоже.

– Это уже после свячения, надеюсь? – строго спросил отец.

– Д-да... гораздо... после.

Вся семья уселась вокруг стола и принялась за кулич, а я сидел в стороне и с ужасом думал: «Едят! Несвяченный! Пропала вся семья».

И тут же вознес к Небу наскоро сочиненную молитву: «Отче наш! Прости их всех, не ведают бо, что творят, а накажи лучше меня, только не особенно чтобы крепко... Аминь!»

Спал я плохо – душили кошмары, – а утром, придя в себя, умылся, взял преступно заработанный рубль и отправился под качели.

Мысль о качелях немного ободрила меня – увижу там праздничного Пангалова, Мотьку Колесникова... Будем кататься на перекидных, пить бузу и есть татарские чебуреки по две копейки штука.

Рубль казался богатством, и я, переходя Большую Морскую, с некоторым даже презрением оглядел двух матросов: шли они, пошатываясь, и во все горло распевали популярный в севастопольских морских сферах романс:

Ой, не плачь, Маруся,
Ты будешь моя,
Кончу мореходку —
Женюсь на тебе.

И кончали меланхолически:

Как тебе не стыдно, как тебе не жаль,
Что мне сменила на такую дрянь!

Завывание шарманок, пронзительный писк кларнета, сотрясающие все внутренности удары огромного барабана – все это сразу приятно оглушило меня. На одной стороне кто-то плясал, на другой – грязный клоун в рыжем парике кричал: «Месье, мадам – идите, я вам дам

по мордам!» А посредине старый татарин устроил из покато́й доски игру, вроде китайского бильярда, и его густой голос изредка прорезывал всю какофонию звуков:

– А второй да бирот, – чем заставлял сильнее зажигаться все спортсменские сердца.

Цыган с большим кувшином красного лимонада, в котором аппетитно плескались тонко нарезанные лимоны, подошел ко мне:

– Панич, лимонада холодная! Две копейки одна стакана...

Было уже жарко.

– А ну, дай, – сказал я, облизав пересохшие губы. – Бери рубль, дай сдачи.

Он взял рубль, приветливо поглядел на меня и вдруг, оглянувшись и заорав на всю площадь: «Абдрахман! Наконец я тебя, подлеца, нашел!» – ринулся куда-то в сторону и замешался в толпу.

Я подождал пять минут, десять. Цыгана с моим рублем не было... Очевидно, радость встречи с загадочным Абдрахманом совершенно изгнала в его цыганском сердце материальные обязательства перед покупателем.

Я вздохнул и, опустив голову, побрел домой.

А в сердце проснулся кто-то и громко сказал: «Это за то, что ты Бога думал надуть, несвяченным куличом семью накормил!»

И в голове проснулся кто-то другой и утешил: «Если Бог наказал тебя, значит, пощадил семью. За одну вину двух наказаний не бывает».

– Ну и кончено! – облегченно вздохнул я, ухмыляясь. – Расквитался своими боками.

Был я мал и глуп.

Продувной мальчишка *Рождественский рассказ*

В нижеследующем рассказе есть все элементы, из которых складывается обычный сентиментальный рождественский рассказ: есть маленький мальчик, есть его мама и есть елочка, но только рассказ-то получается совсем другого сорта... Сентиментальность в нем, как говорится, и не ночевала.

Это – рассказ серьезный, немного угрюмый и отчасти жестокий, – как рождественский мороз на Севере, как жестока сама жизнь.

Первый разговор о елке между Володькой и мамой возник дня за три до Рождества, и возник не преднамеренно, а, скорее, случайно, по дурацкому звуковому совпадению.

Намазывая за вечерним чаем кусок хлеба маслом, мама откусила кусочек и поморщилась.

– Масло-то, – проворчала она, – совсем елкое...

– А у меня елка будет? – осведомился Володька, с шумом схлебывая с ложки чай.

– Еще что выдумал! Не будет у тебя елки. Не до жиру – быть бы живу. Сама без перчаток хожу.

– Ловко, – сказал Володька. – У других детей сколько угодно елков, а у меня – будто я и не человек.

– Попробуй сам устроить – тогда и увидишь.

– Ну и устрою. Большая важность. Еще почище твоей будет. Где мой картуз?

– Опять на улицу?! И что это за ребенок такой! Скоро совсем уличным мальчишкой сделаешься!.. Был бы жив отец, он бы тебе...

Но так и не узнал Володька, что бы сделал с ним отец: мать еще только добиралась до второй половины фразы, а он уже гигантскими прыжками спускался по лестнице, меняя на некоторых поворотах способ передвижения: съезжая на перилах верхом.

На улице Володька сразу принял важный, серьезный вид, как и полагалось владельцу многотысячного сокровища.

Дело в том, что в кармане Володьки лежал огромный бриллиант, найденный им вчера на улице, – большой сверкающий камень, величиной с лесной орех.

На этот бриллиант Володька возлагал очень большие надежды: не только елка, а пожалуй, и мать можно обеспечить.

«Интересно бы знать, сколько в нем карат?» – думал Володька, солидно натянув огромный картуз на самый носишко и прошмыгивая между ногами прохожих.

Вообще, нужно сказать, голова Володьки – самый прихотливый склад обрывков разных сведений, знаний, наблюдений, фраз и изречений.

В некоторых отношениях он грязно невежествен: например, откуда-то подцепил сведение, что бриллианты взвешиваются на караты, и в то же время совершенно не знает, какой губернии их город, сколько будет, если умножить 32 на 18, и почему от электрической лампочки нельзя закурить папироски.

Практическая же его мудрость вся целиком заключалась в трех поговорках, вставляемых им всюду, сообразно обстоятельствам: «Бедному жениться – ночь коротка», «Была не была – повидаться надо» и «Не до жиру – быть бы живу».

Последняя поговорка была, конечно, заимствована у матери, а первые две – черт его знает у кого.

Войдя в ювелирный магазин, Володька засунул руку в карман и спросил:

– Бриллианты покупаете?

– Ну и покупаем, а что?

– Свесьте-ка, сколько каратов в этой штучке?

– Да это простое стекло, – усмехнувшись, сказал ювелир.

– Все вы так говорите, – солидно возразил Володя.

– Ну вот, поразговаривай тут еще. Проваливай! Многокаратный бриллиант весьма непочтительно полетел на пол.

– Эх, – кряхтя, нагнулся Володя за развенчанным камнем. – Бедному жениться – ночь коротка. Сволочи! Будто не могли потерять настоящий бриллиант. Хи! Ловко, нечего сказать. Ну что ж... Не до жиру – быть бы живу. Пойду, наймусь в театр.

Эта мысль, надо признаться, была уже давно лелеяна Володькой. Слыхивал он кое от кого, что иногда в театрах для игры требуются мальчишки, но как приняться за эту штуку – он совершенно не знал.

Однако не в характере Володьки было раздумывать: дойдя до театра, он одну секунду запнулся о порог, потом смело шагнул вперед и для собственного оживления и бодрости прошептал себе под нос:

– Ну, была не была – повидаться надо.

Подошел к человеку, отрывавшему билеты, и, задрав голову, спросил деловито:

– Вам мальчишки тут нужны, чтоб играть?

– Пошел, пошел. Не болтайся тут.

Подождав, пока билетер отвернулся, Володька протиснулся между входящей публикой и сразу очутился перед заветной дверью, за которой гремела музыка.

– Ваш билет, молодой человек, – остановила его билетерша.

– Слушайте, – сказал Володька, – тут у вас в театре сидит один господин с черной бородой. У него дома случилось несчастье – жена умерла. Меня прислали за ним. Позовите-ка его!

– Ну, стану я там твою черную бороду искать – иди сам и ищи!

Володька, заложив руки в карманы, победоносно вступил в театр и сейчас же, высмотрев свободную ложу, уселся в ней, устремив на сцену свой критический взор.

Сзади кто-то похлопал по плечу.

Оглянулся Володька: офицер с дамой.

– Эта ложа занята, – холодно заметил Володька.

– Кем?

– Мною. Рази не видите?

Дама рассмеялась, офицер направился было к капельдинеру, но дама остановила его:

– Пусть посидит с нами, хорошо? Он такой маленький и такой важный. Хочешь с нами сидеть?

– Сидите уж, – разрешил Володька. – Это что у вас? Программка? А ну дайте...

Так сидели трое до конца первой серии.

– Уже конец? – грустно удивился Володька, когда занавес опустился. – Бедному жениться – ночь коротка. Эта программка вам уже не нужна?

– Не нужна. Можешь взять ее на память о такой приятной встрече.

Володька деловито осведомился:

– Почем платили?

– Пять рублей.

«Продам на вторую серию», – подумал Володька и, подцепив по пути из соседней ложи еще одну брошенную программку, бодро отправился с этим товаром к главному выходу.

Когда он вернулся домой, голодный, но довольный, у него в кармане вместо фальшивого бриллианта были две настоящие пятирублевки.

На другое утро Володька, зажав в кулак свой оборотный капитал, долго бродил по улицам, присматриваясь к деловой жизни города и прикидывая глазом – во что бы лучше вложить свои денежки.

А когда он стоял у огромного зеркального окна кафе – его осенило.

– Была не была – повидаться надо, – подстегнул он сам себя, нахально входя в кафе.

– Что тебе, мальчик? – спросила продавщица.

– Скажите, пожалуйста, тут не приходила дама с серым мехом и с золотой сумочкой?

– Нет, не было.

– Ага. Ну, значит, еще не пришла. Я подожду ее.

И уселся за столик.

«Главное, – подумал он, – втереться сюда. Попробуй-ка выгони потом: я такой рев подыму!..»

Он притаился в темном уголку и стал выжидать, шныряя черными глазенками во все стороны.

Через два столика от него старик дочитал газету, сложил ее и принялся за кофе.

– Господин, – шепнул Володька, подойдя к нему. – Сколько заплатили за газету?

– Пять рублей.

– Продайте за два. Все равно ведь прочитали.

– А зачем она тебе?

– Продам. Заработаю.

– О-о... Да ты, брат, деляга. Ну, на. Вот тебе трешница сдачи. Хочешь сдобного хлеба кусочек?

– Я не нищий, – с достоинством возразил Володька. – Только вот на елку заработаю – и шабаш. Не до жиру – быть бы живу.

Через полчаса у Володьки было пять газетных листов, немного измятых, но вполне приличных на вид.

Дама с серым мехом и с золотой сумочкой так и не пришла. Есть некоторые основания думать, что существовала она только в разгоряченном Володькином воображении.



Прочитав с превеликим трудом совершенно ему непонятный заголовок: «Новая позиция Ллойд Джорджа», Володька, как безумный, помчался по улице, размахивая своими газетами и вопя во всю мочь:

– Интер-ресные новости! «Новая позиция Ллойд Джорджа» – цена пять рублей. «Новая позиция» за пять рублей!!

А перед обедом, после ряда газетных операций, его можно было видеть идущим с маленькой коробочкой конфет и сосредоточенным выражением лица, еле видимого из-под огромной фуражки.

На скамейке сидел праздный господин, лениво покуривая папиросу.

– Господин, – подошел к нему Володька. – Можно вас что-то спросить?...

– Спрашивай, отроче. Валяй!

– Если полфунта конфет – двадцать семь штук – стоят пятьдесят пять рублей, так сколько стоит штука?

– Точно, брат, трудно сказать, но около двух рублей штука. А что?

– Значит, по пяти рублей выгодно продавать?

Ловко! Может, купите?

– Я куплю пару с тем, чтобы ты сам их и съел.

– Нет, не надо, я не нищий. Я только торгую...

Да купите! Может, знакомому мальчику отдадите.

– Эхма, уговорил! Ну, давай на керенку, что ли.

Володькина мать пришла со своей белошвейной работы поздно вечером...

На столе, за которым, положив голову на руки, сладко спал Володька, стояла крохотная елочка, украшенная парой яблок, одной свечечкой и тремя-четырьмя картонажами, – и все это имело прежалкий вид.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.